



Вячеслав
Шишков

УГРЮМ-
РЕКА

Том II

МИО

Вечные истории (МИФ)

Вячеслав Шишков

Угрюм-река. Том II

«Манн, Иванов и Фербер (МИФ)»

1928-1933

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Шишков В. Я.

Угрюм-река. Том II / В. Я. Шишков — «Манн, Иванов и Фербер (МИФ)», 1928-1933 — (Вечные истории (МИФ))

ISBN 978-5-00-214708-3

Роман Вячеслава Шихова начал публиковаться в 1928 году по частям и вскоре стал одной из самых масштабных семейных саг о человеческой жадности. Он вырос из реальных биографий сибирских купцов и рассказов Николая Матонина – потомка богатейших золотопромышленников. Сам писатель прошел тайгу в десятках экспедиций – от Оби до Нижней Тунгуски – и описал ее без прикрас. Мечты сбылись: Прохор стал богат и влиятелен. Но чем выше он поднимается, тем глубже погружается в собственных пороках. Тайна прошлого, разрушенные судьбы и внутренний страх – не приведет ли все это к трагедии?

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-00-214708-3

© Шишков В. Я., 1928-1933
© Манн, Иванов и Фербер
(МИФ), 1928-1933

Содержание

Часть пятая	6
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Вячеслав Шишков

Угрюм-река. Том II

Книга не пропагандирует употребление алкоголя, табака, наркотических или любых других запрещенных средств.

Согласно закону РФ приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, а также культивирование психотропных растений являются уголовным преступлением.

Употребление алкоголя, табака, наркотических или любых других запрещенных веществ вредит вашему здоровью.

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.

Печатается по изданию: Шишков В. Я. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 5. Угрюм-река. Том второй. М.: Гос. изд-во худож. лит., 1962. 592 с.

© Оформление. ООО «МИФ», 2026

* * *



Часть пятая



1

В Петербурге Прохор Петрович сумел многое сделать. Побывал на огромном машиностроительном заводе, где по одобренным Протасовым чертежам заказал для своей электростанции турбину в пять тысяч киловатт, побывал в горном департаменте, чтоб посоветоваться о выписке из Америки драги для золотых приисков. Наконец разыскал поручика Приперентьева, которому перешел по наследству от брата золотиносный, остолбленный в тайге участок.

Поручик Приперентьев жил в двух комнатах на Моховой, у немки; ход через кухню. Неопрятный с сонным лицом денщик, поковыривая в носу, не сразу понял, что от него хочет посетитель. Прохор дал ему два рубля – денщик мгновенно поумнел и побежал доложить барину. Поручик принимал Прохора в прокуренной, с кислым запахом комнате. У него одутловатое лицо, черные усы, животик и, не по чину, лысина. Поручик тоже не сразу понял цель визита Прохора и, наконец, кое-что уяснив, сказал:

– Ни-ко-гда-с... Я выхожу в отставку. Впрочем... черт!.. Ну, что ж... У меня как будто водянка, как будто бы расширение сердца... Словом, понимаете? Да. Выхожу в отставку и еду сам в тайгу, на прииск...

Прохору было очевидно, что поручик ошарашен его появлением, что поручик давным-давно забыл о прииске и теперь нарочно мямлит, придумывая чепуху.

– Для эксплуатации участка нужен большой капитал. Вы его имеете? – ударил его Прохор вопросом в лоб.

Поручик Приперентьев схватился за голову, попятился и сел.

– Прошу, присядем. Насчет капиталов – как вам оказать?.. И да, и нет... Впрочем... скорей всего – да. Я женюсь... Невеста с приличным состоянием... Сидоренко! Кофе...

Поручик наморщил брови, надул губы и с независимым видом стал набивать трубку.

– Впрочем... Знаете что? Кушайте кофе. Сигару хотите? Впрочем... у меня их нет... Этот осел денщик! Тьфу!.. Знаете что? Приходите-ка сегодня ко мне вечером поиграть в банчок. В фортуна верите, в звезду? Ага! Можете выиграть участок в карты. Я его ценю в сто тысяч.

– Я бы мог предложить вам тыщу...

– Что? Как?! – Поручик выпучил продувные, с наглинкой глаза и прослезился.

– Тыщу, – хладнокровно сказал Прохор, отодвигая чашку с кофе. – В сущности вы потеряли на него все права... Эксплуатации не было около двадцати лет, срок давности миновал. Но мне не хочется начинать в департаменте хлопоты об аренде... Я желал бы сойтись с вами...

Из рук в руки...

– Впрочем... Это какой участок? Вы про какой участок изволите говорить?

– Как – про какой? Да в тайге, золотиносный...

– Ах, тот! – басом закричал поручик и завертел головой. – Семьдесят пять тысяч...

Ха-ха... Да мне в прошлом году давали за него двести тысяч... Я был при деньгах, делкой пренебрег...

– Кто давал?

– Золотопромышленник Пупков Петр Семенович.

– Такого нет.

– В этом роде что-то такое, понимаете: Пупков, Носков, Хвостов... Знаете, такой с бородкой. Итак, семьдесят пять тысяч...

– Тыщу...

– Я шуток не люблю. Впрочем, я кой с кем посоветуюсь. Позвоните завтра 39–64. Адье... Мне в полк... Эй, Сидоренко!..

Проخور, конечно, не звонил и больше с поручиком не видался. А Яков Назарыч, угостив Сидоренко в трактире водкой, пивом и яишенкой с ветчинкой, выведал от него необходимое. Барин – мот, картежник, пьяница, иногда при больших деньгах, но чаще пробивается займом деньжат по мелочам: то у хозяйки Эмилии Карловны, то у несчастного денщика, Сидоренко. Недавно барин сидел на гауптвахте, недавно барина били картежники подсвечником по голове, а на другой день барин избил ни в чем не повинного денщика. Надо бы пожаловаться по начальству, да уж бог с ним.

Рассказывая так, подвыпивший Сидоренко горько плакал.

И ровно в двенадцать Проخور Петрович был на приеме у товарища министра. В новом фраке, с цилиндром в руке, слегка подпудренный, с усами и бородкой, приведенными в «культурный вид», он стоял в приемной, любуясь собою в широком, над мраморным камином, зеркале.

– Их превосходительство вас просят.

Проخور, с высоко поднятой головой, вошел в обширный, застланный малиновым ковром кабинет. Сидевший за черным дубовым столом румяный старичок, в партикулярном сюртуке, с орденом Владимира на шее, указал ему на кресло. Проخور поклонился, сел. Старичок метнул на него бывалым взглядом, потербил крашеную свою бородку, снял очки.

– Я вас принял тотчас же потому, что знаю, кто вы. Излагайте.

Проخور изложил дело устно и подал докладную записку.

– Ага, – сказал старичок и мягко улыбнулся. – Хорошо-с, хорошо-с... Зайдите дня через три... Впрочем, чрез неделю. Вы не торопитесь? Итак, чрез неделю, в четыре часа ровно... – И он сделал в календаре отметку.

Проخور встал. Старик протянул сухую, в рыжих волосинках руку. Проخور сказал:

– Могу ли я, ваше превосходительство, надеяться, что моя просьба будет уважена?

– Гм... Сразу ответить затрудняюсь. Дело довольно туманное. Знаете, эти военные. Этот ваш, как его... Запиральский...

– Приперентьев, ваше превосходительство.

– Да, да... Приперентьев... Ну-с... – Румяный старичок широко улыбнулся, обнажая ровные, блестящие, как жемчуг, вставные зубы. – Я передам вашу записку на заключение старшего юрисконсульта, он по этой части дока. Надо надеяться, молодой человек. Надо надеяться.

Ровно через неделю, в четыре часа Проخور вновь был у товарища министра. Старик на этот раз – в вицмундире, со звездой, поэтому при встрече вел себя с подобающим величием.

– Ну-с? Ах, да. Садитесь, – сухо и напыщенно проговорил он. – Вы, кажется... Вы, кажется... По поводу...

– По поводу отобрания от поручика Приперентьева золотоносного участка и передачи его мне, ваше превосходительство.

– Да, да... Великолепно помню. Столько дел, столько хлопот. Бесконечные заседания, комитеты, совещания... С ума сойти... – Он произнес это скороговоркой, страдальчески сморщившись и потряхивая головой. – По вашему делу, милостивый государь, наводятся некоторые справки. У нас в столице подобные дела вершатся слишком, слишком медленно... Море бумаг, море докладов... Гибнем, гибнем! Придите через неделю. Но, предваряю вас: розовых

иллюзий себе не стройте – поручик Приперентьев подал встречное ходатайство... А что у вас большое дело там дома?

– По нашим местам, солидное...

–оборотный капитал?

– Миллионов десять – двенадцать, ваше превосходительство.

Сановник вдруг поднял плечи, вытянул шею и быстро повернулся лицом к Прохору, сидевшему слева от него.

– О! – поощрительно воскликнул он, и все величие его растаяло. – Похвально.

Очень, оч-чень похвально, милостивый государь. Итак... – Он порывисто поднялся и заискивающе пожал руку Прохора.

Представительный, весь в позументах, в галунах швейцар, подавая пальто, спросил Прохора:

– Ну как, ваша честь, дела, осмелюсь поинтересоваться?

– Не важны, – буркнул Прохор и вспомнил давнишний совет Иннокентия Филатыча: «Швейцарец научит либо лакей, к нему лезь». Широкобородый седой швейцар, похожий в своей шитой ливрее на короля трэф, взвешивал опытным взглядом, в каких капиталах барин состоит. Прохор сунул ему четвертной билет и пошел не торопясь к выходу. Швейцар, опередив его, отворил дверь и, низко кланяясь, забормотал:

– Премного, премного благодарен вам, ваша честь. И... дозвоьте вам сказать... В прихожей-то неудобственно, народ. Мой вам совет, в случае неустойки али какого-либо промедления, действуйте через женскую, извините, часть... То есть... Ну, да вы сами отлично понимаете: любовный блезир, благородные амурсы. Да-с... Например, так. Например, их превосходительство аккредитованы у мадам Замойской.

– Графиня?! – изумился Прохор, и сердце его заныло. Пред глазами быстро промелькнули: Нижний Новгород, ярмарка, зеленый откос кремля, воровская шайка. – Замойская? Графиня?

– Без малого что да. Баронесса-с... И соблаговолите записать их адресок.

Меж тем кончился срок высидки Иннокентия Филатыча. Прохор без него скучал. Яков Назарыч целиком ушел в дела, к нему насчет «прости господи» – не подступись. А тот веселый старикан с выдумкой – авось какое-нибудь легкое безобразие вкупе с ним и сотворили бы. Да, жаль... И угораздило же черта беззубого порядочным людям носы кусать...

Утром постучали в номер. Вошел верзила в форме тюремного ведомства. Морда бычья, с перекосом. Не то улыбнулся, не то сморщился, чтобы чихнуть, и подал розовый, заляпанный масляными пятнами пакетик:

– Письмо-с! От именитого сибирского золотопромышленника Иннокентия Филатыча Груздева с сыновьями.

– У него – дочь вдова. Да и нет такого золотопромышленника. Чего он там?

– Извольте прочесть.

«Милый Прошенька. Прости бога ддя. Денежки твои – две с половиной тысячи которые, пропили всей тюрьмой. А то скука. Ноги мои опухли, и лик опух, а посторонних людей все-таки узнаю, не сбиваюсь. В эту пятницу привези, пожалуста, какую-нибудь одежину по росту и сапоги, Еще какой-нито картузишко. А свое все пропито, которое украли, сiju в рестанском халате, вша ест».

– Что же, в пятницу он выходит? – спросил Прохор, передавая письмо Якову Назарычу.

– Так точно-с... – сказал верзила, стоя во фронт и придерживая рукой шашку.

– Веселый старик?

– Очень даже-с... Уж на что помощник начальника тюрьмы, а и тот кажинный божий день два раза пьяный в доску-с. И надзиратели пьяные, и вся камера пьяная.

Прохор дал ему три рубля и отпустил. Яков Назарыч хохотал.

В день выхода старца на свободу в вечерней «Биржевке» был напечатан кляузный фельетон: «Веселая тюрьма». Талантливо описывая пьяную вакханалию в одной из петербургских тюрем, автор фельетона требовал немедленного расследования этого неслыханного дела и примерного наказания виновных, во главе с начальником тюрьмы и героем «всемирного пьянства» сибиряком И. Ф. Груздевым, заключенным в узилище за укушение носа обер-кондуктору Храпову.

Освобожденный Иннокентий Филатыч скупил около сотни номеров этой газеты и разослал ее всем знакомым с наклеенной под заметкой надписью: «На добрую память из Петербурга».

Иннокентий Филатыч чувствовал себя вознесенным на небо. Он ходил по Питеру с видом всесветно известного героя, всем улыбался, заглядывал в глаза, будто хотел сказать: «Читали? Иннокентий Груздев – это я».

2

– А не желаете ль, мадам, прогуляться?

– Отчего ж... С вами всегда рада. Вы вечно заняты, к вам не подступись.

Нина в белом, замазанном свежей землей халате копалась у себя в саду.

– Что? Селекционные опыты, гибриды, американские фокусы? – присел возле нее на скамейку Андрей Андреевич Протасов.

– Да. Вот поглядите, какой удивительный кактус... Совершенно без колючек. Чудо это или нет? Где вы видели без колючек кактусы?.. Ну, ну?

– А какая разница: в колючках эта дрянь или без колючек? Трава – не человек.

– Во-первых, это не трава. А во-вторых...

– А во-вторых, я очень жалею, что у вас, в вашем характере нет ни одной колючки. А не мешало бы...

– Зачем?

– Ну, хотя бы для того, чтоб больно, в кровь колоть. Ну, например... Кого же? Ну, вашего супруга например... Простите меня... За его беспринципность... За его, я бы сказал... ну, да вы сами знаете, за что...

Нина выпрямилась, бросила железную лопатку, и ее стоптанные рабочие башмаки стали носками круто врозь.

– Да как, как?! – горячо, с горестью воскликнула она. – Ах, если бы он был кактус, жасмин, яблоня!.. Тогда можно было бы привить, облагородить... Но, к сожалению, он человек. Да еще какой: камень, сталь!

– Вы спрашиваете меня – как? Хм. – Протасов улыбнулся и стал в смущении ковырять землю тросточкой. – Важно, чтоб в вашем сознании созрела мысль бить силу силой, убеждения контрубеждениями. А как именно – то есть вопрос тактики?.. Хм... Простите, я в это не имею права вмешиваться... Уж вы как-нибудь сами, своим умом и сердцем.

Их глаза встретились и быстро разошлись. Нина, вздохнув, сказала:

– Пойдемте, я покажу вам мои успехи.

Они двинулись дорожкой. Инженер Протасов вяло и расхлябанно, Нина – четкой, быстрой ступью. Миновали две гипсовые статуи Аполлона и Венеры с отбитыми носами, обогнули стоящую на пригорке китайскую, увитую диким виноградом беседку, очутились в обширном фруктовом саду, обнесенном высоким забором с вышкой для караульного. Длинные, ровные, усаженные ягодами гряды и ряды молодых плодоносных деревьев.

– Где это видано, чтоб в нашем холодном краю могли расти яблоки, вишни, сливы?.. Вот они! Сорвите, покушайте. А вот малина по грецкому ореху, а вот созревающая ежевика. Особый ее сорт, я очень, очень благодарна мистеру Куку.

– В сущности не ему, а Лютеру Бербанку. Так, кажется?

– Да, главным образом, конечно, и ему – этому знахарю, этому «стихийному дарвинисту», как его называют в Америке. Но, если б не мистер Кук, я о существовании Бербанка и не подозревала бы.

Действительно, мистер Кук, безнадежно влюбленный в Нину, заметив в ней склонность к садоводству, еще года три тому выписал из Америки и подарил ей к именинам великолепное, в двенадцати томах, издание «Лютер Бёрбанк, его методы и открытия», с полуторатысячью цветных, художественно исполненных таблиц, освещающих этапы жизни этого гениального ботаника-самоучки из Калифорнии.

Инженер Протасов о подарке знал и это сочинение с интересом рассматривал, но он не мог подозревать, что вскоре после поднесения подарка мистер Кук, при помощи угроз убить себя, вымолил у Нины вечернее свидание. Тайная, неприятная для Нины встреча состоялась в кедровой роще, недалеко от башни «Гляди в оба». В чистом небе плыл молодой серп месяца, прохладный воздух пах смолой. Мистер Кук поцеловал Нине руку, упал перед нею на колени и заплакал. Нину била лихорадка. Мистер Кук от страшного волнения потерял все русские слова и, припадая высоким лбом к ее запыленным тувелькам, что-то бессвязно бормотал на непонятном Нине языке. Нина подняла несчастного, держала его похолодевшие руки в своих горячих руках, сказала ему:

– Милый Альберт Генрихович, дорогой мой! Я ценю ваши чувства ко мне. Я вас буду уважать, буду вас любить, как славного человека. Не больше.

– О да! О да! На чужой кровать рта не разевать!.. – в испуге заорал мистер Кук, резко рванулся, выхватил из кармана револьвер и решительно направил его в свой висок. Нина с визгом – на него. Он бросился бежать и на бегу два раза выстрелил из револьвера в воздух, вверх. Вдруг вблизи раздался заполошный женский крик.

– Помогите, помогите! Караул! – И чрез просветы рощи замелькали пышные оборки платья вездесущей Наденьки, мчавшейся к башне «Гляди в оба».

Об этом странном происшествии инженер Протасов, конечно, ничего не знал. Забыла бы о нем и Нина, если б не шантажистка Наденька. Время от времени она льстивой кошечкой является в дом Громовых, получает от хозяйки то серьги, то колечко, то на платье бархату и всякий раз, прощаясь, говорит:

– Уж больше я вас не потревожу.

А мистер Кук, если б обладал даром провидца, может быть, и не стал бы стрелять из револьвера по-пустому вверх, он, может быть, и сумел бы тогда привести свою угрозу в исполнение. Он не мог предполагать, что предмет его неудачных вожелений – Нина – давно таит в своем сердце любовь к счастливому Протасову.

Однако это чувство, полузаконное, но прочное, загнано Ниной на душевные задворки, затянуто густым туманом внутренних противоречий разума и сердца, пригнетено тяжелым камнем горестных раздумий над тем, что скажет «свет». Словом, чувство это было странным, страшным и таинственным даже для самой Нины. Неудивительно поэтому, что не только простоватый на жизненные тонкости мистер Кук, но и сам вдумчивый, внимательный Протасов не мог помыслить о том, что таится в сердце всегда такой строгой к самой себе, пуритански настроенной хозяйки. А между тем и сам Андрей Андреевич Протасов был слегка отравлен тем же самым дивным ядом, что и мистер Кук. Но принципы... Прежде всего принцип, целеустремленность – те самые идеи, в сфере которых он существовал, и, скованный иными, чем у Нины, настроениями, он ставил эти захватившие его идеи превыше всяческой любви.

Так существовал скрытый до поры тайный лабиринт пересечений от сердца к сердцу, от ума к уму. А над всем стояла сама жизнь с ее неотвратимыми законами, их же не прейдет ни один живой.

– Да, да... Очень прекрасные яблоки!.. А сливы еще вкусней, – смачно чавкая, говорил Протасов. – Ну что ж... Новая положительная ваша грань... Вообще вы...

– Что?

Инженер Протасов вытер о платок руки, вытер бритый строгий рот и бесстрастно взглянул чрез пенсне в большие, насторожившиеся глаза Нины.

– Вы могли бы быть чистопробным золотом, но в вас еще слишком много лигатуры.

Глаза Нины на мгновенье осветились радостью и снова загрузили.

– Лигатура? То есть то, что нужно сжечь? Например?

– Сжечь то, что вам мешает быть настоящим человеком. Сжечь детскую веру в неисповедимую судьбу, во все сверхъестественное, трансцендентное...

– Выгнать отца Александра, церковь обратить в клуб и... и навсегда ограбить свою душу... Так? Благодарю вас!

– Ваш интеллект, я не скажу – душа, нимало не будет ограблен. Напротив, он обогатится...

– Чем?

– Свободой мировоззрения. Вы станете на высшую ступень человека. Вы не будете подчинять свое «я» выдуманному людям фетишам, заумным фатаморганам, вы вознесете себя над всем этим. Ведь истина всегда конкретна. Устремления вашего разума сбросят путы, цель вашей жизни приблизится к вам, станет реальной, исполнимой, вы вольной волей забудете себя и вольной волей отдадите свои силы людям, коллективу людей, обществу.

– Друг мой! – с пылом, но сдерживая нарастающее раздражение, воскликнула Нина. – Неужели вы думаете, что я, христианка, не работаю для общества? Моя вера зовет меня, толкает меня, приказывает мне быть среди униженных и оскорбленных. И по мере сил я – с ними. А относительно фетишизма – у меня свой фетиш, у вас – свой.

– У меня – народ.

– У меня тоже.

– У вас муж, семья, сытая жизнь. Чрез голову богатства вам трудно наблюдать нищету, обиду эксплуатируемых.

– Вы желаете, чтоб я отказалась от семьи, от мужа, от богатства? Вы очень многого требуете от меня, Протасов.

– Если не ошибаюсь – ваш Христос как раз требует от вас того, от чего вы не можете отказаться. Значит, или слаб его голос, или слабы вы.

Они давно покинули сад, шли вдоль поселка, к его окраине. Смущенная Нина глядела в землю. Инженер Протасов смысл своих речей внутренне считал большой бестактностью и укорял себя за то, что затеял в сущности праздный, неприятный разговор.

Проходили мимо семейного барака. Четыре венца бревен над землею и – на сажень в землю. У дверей толпа играющих ребятишек с тугими животами.

– Я здесь никогда не бывала, – сказала Нина, – Я боюсь этих людей: все золотоискатели – пьяницы и скандалисты.

– Любовь к цветам и вообще к природе выводит человека за пределы его мира. Вот мы с вами сейчас в другом мире, не похожем на наш мир. Может быть, заглянем? – осторожно улыбнулся инженер Протасов.

И они, спустившись по кривым ступенькам, вошли в полуподземное обиталище. Из светлого дня – в барак, как в склеп: темно. Нинушибанул тлетворный, весь в многолетнем смраде воздух. Она зажала раздушенным платком нос и осмотрелась. На сажень земля, могила. Из крохотных окошек чуть брезжит дряблый свет. Вдоль земляных стен – нары. На нарах люди:

кто по-праздничному делу спит, кто чинит ветошь, кто, оголив себя, ловит вшей. Мужики, бабы, ребятишки. Шум, гармошка, плевки, перебранка, песня. Люльки, зыбки, две русские печи, ушаты с помоями, собаки, кошки, непомерная грязь и теснота.

– Друзья! – сказала Нина громко. – Почему вы не откроете окон? Бог знает какая вонь у вас. Ведь это страшно вредно...

– Ах, вредно?! – прокричали с трех мест голоса. – Ты кто такая?

– Барыня это, барыня, – предостерегающе зашуршало по бараку, и шум стал смолкать.

– Ах, барыня? Нина Яковлевна? Добро! Садись, на чем стоишь. Васкородие, присаживайся и ты. Срамота у нас. Многолюдство... Вши. Не подцепите вшей. Они злобные, кусучие... Вон старик помирает в том углу. А эвот баба сейчас родить будет, мается. Да двенадцать человек хворые, простыли, все в воде да в воде, а Громов обутки не дает. Жадина!.. Уж ты, барыня, прости. Ты не в него, ты с понятием. Приклоняешься к нам, грешным...

Говорило одновременно человек десять. У Нины горели уши. Не знала, как и что ответить.

– Вот видишь:дохнем! – вырос пред Ниной пьяный, с повязкой по голове, бородач с красными больными веками. – Дохнем, пропадаем! Ты можешь вверх головой нашу жизнь поставить, чтоб по-людски? Не можешь? Ну, так и убирайся к черту.

– Яшка! Дурак! Что ты?! – набежали на него.

И Протасов сказал, сверкнув сузившимися глазами:

– Слушай, приятель... Будь человеком...

– Здорово, барин!.. Не заметил тебя. Темно. Мы тебя, барин, уважаем, ты сам в подчинении. А этих... – заорал он, размахивая тряпкой, – Громовых... Ух, ты!..

– Стой! Яшка, дурак!.. Не пикни! – снова налетели на него. – Ты Нину Яковлевну не моги обижать...

– Все они – гадючье гнездо... – И Яшка стал ругаться черной бранью. Его схватили, поволокли в угол. – Я правду говорю, – вырывался он. – Десятники нас обманывают, контора обсчитывает, хозяин штрафует да по зубам потчует. Где правда? Где Бог? Бей их, иродов! Бей пристава!

Нину прохватила дрожь. Ей хотелось кричать и плакать. Протасов кусал губы. Земляные стены, земляной, в хлюпкой грязи, пол. Возле стола, раздувая перепончатое горло, пыхла жаба. Девчонка гонялась за торопливо ползущим черно-желтым ужом, била его веником. Уж свертывался в клубок, шипел, стращал девчонку безвредным жалом.

– Палашка! Пошто животную мучишь?.. Я те! – грозилась седая, с провалившимся ртом старуха.

В углу, возле изголовья умирающего, баба зажигала восковые свечи. В другом углу роженица завывала диким воем.

По заплесневелым бревнам ползли ручейки.

Бородач Яшка разбушеввался: опрокидывал скамьи, швырял чужие сундуки с добром. На него налегли, будто медведи, такие же пьяные, такие же озверелые, как и он сам:

– Яшка, что ты... А ну, ребята, вяжи его!.. Волоки в чулан...

К общей ругани присоединила свой громкий плач орава детворы. Стонавшая роженица разразилась таким жутким непереносимым ревом, что Нина, заткнув уши и вся содрогнувшись, выскочила вон и с жадностью, как освободившись от петли, стала вдыхать свежий воздух.

– Теперь пойдете в другой барак, к холостякам.

– Благодарю вас... Довольно.

«Прохор! Я совсем не получаю от тебя писем. Конторе ты послал пятьдесят две телеграммы, мне – ни звука. Чем это объяснить? Молчат и папа с Груздевым. Пьянствуете, что ли? Вчера я с Андреем Андреевичем побывала в бараке № 21. Обстановка хуже каторжной. Она вызывает справедливый укор

хозяину, низведшему людей до состояния скотов, и нехорошие чувства к этим самым людям-рабам, которые способны переносить такую каторжную жизнь и терпят такого жестокосердного хозяина, как ты. Прости за резкость. Но я больше не могу. Я приказала партии лесорубов заготовить материалы для постройки жилых домов, просторных и светлых. Уж ты не взыщи. Делу не убыток от этого, а польза. В крайнем случае половину расходов принимаю на себя. Я больше не могу. Я не хочу участвовать в таком преступном отношении к человеческим жизням. Не сердись, пойми меня и, поняв, прости.

Нина».

Через одиннадцать дней, как отзвук на письмо, получились две телеграммы. На имя инженера Протасова:

«Лесорубам продолжать заготовку бревен для сплава. Никаких барачных не строить. Посторонних вмешательств в ваши распоряжения не допускать.

Громов».

На имя Нины Яковлевны:

«Живы-здоровы. Занимайся дочерью и яблоками. Мерехлюндию оставь при себе. Тон письма новый. Догадываюсь, кем подсказан. По приезде поговорим. До свидания.

Проход».

А вскоре за этими телеграммами были получены от Иннокентия Филатыча по двенадцати адресам местной знати двенадцать номеров «Биржевки».

Все много смеялись. Анна же Иннокентьевна целую неделю ходила с заплаканными глазами.

3

Проход Петрович Громов давно известен коммерческим кругам Петербурга. Опытные капиталисты, предсказывая Проходу блестящую судьбу, открывали ему неограниченный кредит. Наиболее тароватые просились в пай. Ведь в Сибири непочатый угол богатств, ему одному не совладать. Но Проход Петрович предпочитал делать жизнь особняком, он ни в ком не нуждался. Пусть фирма «Проход Громов» будет греметь на всю Россию. А пройдут сроки, может быть, и кичливая заграница поклонится его делам.

Да оно к тому и шло. Щетина, конский волос, мед, драгоценные меха направлялись Проходом непосредственно в Данциг, Гамбург, Ливерпуль. Впрочем, и на долю России оставалось много. С московской фирмой он заключил выгодную сделку на пушнину, на восемьсот тысяч серебром. В Питере взял многомиллионный подряд снабжать одну из железных дорог края лесом, шпалами, штыковой медью, чугуном. Новый золотой прииск тоже сулил ему несметные богатства.

Проход всегда был крут в поступках, поэтому, не откладывая в долгий ящик начатых хлопот, он в час дня звонил к баронессе Замойской. Он намеренно оделся былинным «добрым молодцем». Великолепно сшитая поддевка, голубая шелковая рубашка, лакированные сапоги. Он нажал кнопку с некоторым внутренним содроганием. Его выводила из равновесия вкоренившаяся мысль, что баронесса Замойская есть та самая графиня, которая обольстила его в Нижнем.

Он передал швейцару карточку с золотым обрезом: «*Проход Петрович Громов, сибирский золотопромышленник и коммерсант*». Швейцар прищурился, прочел, подобострастно поклонился Проходу и позвонил.

– Гость! Отнеси баронессе, – начальственным тоном сказал он выскочившей горничной.
– Какая она из себя? – спросил Прохор, прихорашиваясь у зеркала.
– Да обнаковенная, ваша милость, – сделал швейцар рот ижицей и прикрыл его кончиками пальцев. Он был много проще величественного министерского швейцара: нос пуговкой и ливрея грубого сукна.

– Блондинка, черная?

– Черная, черная!.. Это вы изволили угадать.

– Полная?

– Да, приятная пышность есть.

– Баронесса просит вас пожаловать, – распахнула двери горничная.

Голову вверх, Прохор направился в гостиную. На его мизинце – крупнейший бриллиант.

– Будьте столь добры присесть.

Зеркала в золотых обводах, шкура белого медведя. На потолке – три голые девы и парящие амурсы.

Раздвинулась портьера и, шурша юбками, вышла баронесса. Сердце Прохора упало. Нет, не та. Встал, склонился, крепко чмокнул руку.

– Боже, какой вы огромный!.. И какой... – Она хохотнула себе в нос, оправила кружева на высоком бюсте и произнесла:

– Присядем.

Прохор хлюпнулся в крякнувшее под ним кресло.

– Простите, осмелился – так сказать...

– Я очень рада... Вы курите? Пожалуйста. – Она протянула свой золотой портсигарчик гостю и сама закурила.

Прохору было видно, как в соседней комнате лохматая беленькая собачонка повертелась возле стоявшего на полу вазона с цветком и бесстыдно подняла ногу. Прохору стало смешно. Кусая губы, он сказал:

– Какая прекрасная в Петербурге осень.

– Да. Вообще Петербург – чудо. Ну, а как Сибирь? Вы женаты? Большое у вас дело? Надолго ль вы в Питер? А оперу посещаете? Ну, как Шаляпин?

Прохор заикался на каждый вопрос ответом, но баронесса в тот же миг его перебивала.

Подали на подносе чай с лимоном, с розовыми сушками. Почему-то три чашки.

– Доложите Семену Семенычу, что чай готов.

Горничная в накрахмаленном фартуке, выстукивая каблукками, скрылась. Баронесса оправила черные локоны, схваченные над ушами обручем в виде блестящей змейки, и, откинувшись в кресле, облизнула тонкие малиновые губы:

– Позвольте! Так это, верно, про вас говорил Семен Семеныч?

– Простите... Кто такой Семен Семеныч?

Баронесса, заглядывая ему в глаза, пригнула голову к левому плечу, погрозила гостю мизинчиком и захохотала в нос:

– Ая-яй!.. Ая-яй!.. Так вы не знаете генерала, у которого...

– Простите! – обескураженно воскликнул Прохор. – Так-так-так.

В это время через соседнюю комнату катился петушком сановник.

– Гоп-ля-гоп! Гоп-ля-топ! – пощелкивал он пальцами вскинутой руки, а собачонка, встряхивая шерстью и кряхтя, подскакивала в воздухе.

– Семен Семеныч, вы не ожидали гостя?

– Ба! Да... – с распростертыми руками направился он к Прохору, но шагах в трех вдруг остановился. – Что угодно? Ах, это вы? Рекомендую, Нелли... Прекрасный молодой человек. Только о делах ни слова... – затряс он на Прохора кистями рук.

– Ни-ни-ни!.. В кабинете-с, в министерстве-с... А я здесь... Знаете? Это моя кухня. Жена моя на водах, в Карлсбаде... На минутку-с, на минутку-с... завернул. Что, чай? Прекрасно. А я, кузиночка, уже в путь. Заседания, заседания... Сто тысяч заседаний... Даже в праздники. – И сановник схватился за голову. – С ума сойти.

Он чай выпил на ходу.

– Марта, портфель, перчатки! – Поцеловал баронессе руку, кивнул Прохору. – Итак, через недельку... Но, предупреждаю... Впрочем, нет, нет... О делах ни звука. Адье! – И от дверей, натягивая левую перчатку, крикнул:

– Кухина! Ради бога... Предложи господину золотопромышленнику подписной лист. Ну сто, ну двести, сколько может... В пользу сирот отставных штаб- и обер-офицеров.

– Ваше превосходительство! – полез Прохор в карман. – Я рад буду подписать не сто, не двести... И в пользу кого угодно. Вот на пятнадцать тысяч чек. – И он положил синенькую бумажку на кремовый бархат круглого стола.

– О! О! О! – и старик, подскользнув, как конькобежец, по паркету к гостю, с небывалым жаром тряс его руку, восклицая:

– Это... это... это... большая жертва с вашей стороны. Еще раз мерси, горячее, горячее спасибо от лица всех благодетельствованных вами офицерских сирот. Загляните завтра в час... туда... Понятно? Я послезавтра уезжаю по епархии, с осмотрами. У нас там кой-какие... Итак... – Он весь вспыхнул, загребисто сунул чек в портфель и, вильнув взглядом по вдруг помрачневшему челу баронессы, с разбегу выехал на подошвах в дверь. Прохор сидел недолго. Немножко поболтали, но разговор не клеился: мысли баронессы были сбиты, спутаны, глаза печальны, как у обворованной среди бела дня жертвы. Время уходит. Прохор был уверен, что дело завтра будет решено в его пользу. Он встал.

Баронесса, овладев собой, любовалась мощной фигурой Прохора. Черные, подведенные глаза ее горели искрами. Подавая теплую, в кольцах, руку, она сказала:

– Я жду вас послезавтра в семь...

– Утра?

– Ха-ха!.. Смешной!..

– Простите... Вечера, конечно... Рад!

– Прокатимся на острова. А там видно будет, куда еще. Познакомлю с подругой. Эффектная такая, знаете, кустодиевская... Но... – И она вновь загрозила пальцем. – Но я ревнива...

– Что вы, что вы!.. – смешался Прохор, а хозяйка раскатилась мягким серебряным смехом чуть-чуть в нос. – Но вы все-таки не сказали мне – женаты вы или нет?

– Женат, черт возьми, женат! – вырвалось у Прохора. Забыв поцеловать протянутую руку, он сжал ее так крепко, что хозяйка сморщилась вся и сказала:

– Ой!

– Прииск за мной. Завтра – официально.

– Сколько стоило?

– Пятнадцать.

– Пустяки.

Иннокентий Филатыч вставил новые, хорошо пригнанные зубы и, как грудной младенец, учился говорить с азов. Все как-то не вытанцовывалось – сю-сю, сю-сю, – а когда старик напивался, бормотанье его становилось смешным и непонятным. Но он не унывал. С азартом помогал Прохору в работе, лично бегал на телеграф, производил нужные заготовки, купил и отправил большой скоростью в Сибирь десять вагонов мануфактуры, галантереи, обуви и других товаров. Кой-что подсунуто в общий счет и для своей лавчонки, и на изрядную, конечно, сумму, но ведь Прохор Громов не станет же придирается к мелочи, на то он и Прохор Громов. А вечерами сидел где-нибудь в трактире, слушал цыган, певичек или смотрел кино. По

субботам и в праздничные дни он посещал храмы. У Спаса на Сенной у него вытащили большой кошелек, но в нем было всего рубля на три серебра и старые челюсти с лошадиными зубами: Иннокентий Филатыч жалел их выбросить, полагая, что в коммерческом деле и они когда-нибудь да пригодятся.

Красивая, цыганского типа, баронесса в ландо рядом с Авдотьей Фоминишной Праховой, а напротив – Прохор. Экипаж, катившийся через Каменноостровский к Стрелке, сильно накренился в ту сторону, где сидела мадам Прахова, да и немудрено: в этой молодой, но мастодонтистой даме никак не менее восьми пудов.

Бюст выпирал горой: вот-вот лопнут шнуры, распадутся кружева. Прохора разбирало мальчишеское любопытство. А бедра, плечи, свежее, румяное, чуть надменное, чуть властное лицо! А эти рыжие, густые, пронизанные солнцем волосы, а большие серые, влекущие к себе глаза! А полные улыбочивые губы и веселый блеск ровных, как один, зубов. Тьфу, черт! Пропало твое сердце, Прохор...

– Гэп-гэп! – покрикивал лихач, и все мелькало, проносилось, отставало.

В пятом часу вечера инженер Протасов получил записку.

«Миленький А. А. Приходите обедать. Мне почему-то очень, очень грустно. Н. Г.».

Скоро полночь. Пристава нет. А он сидит, сидит. Наденька в смущении. Но эти ее фигли-мигли давно знакомы Владиславу Викентьевичу Парчевскому. Он целует ее оголенную руку, повыше локтя, и слащаво, с дрожью говорит:

– Раз мужа нет, то... В чем же дело?

Наденька оправила подушки, отвернула одеяло. Инженер Парчевский снял с левой ноги сапог.

Часы пробили полночь.

– Ну-с?

– Что?

– Не пора ли домой, миленький сибирячок?

– У меня дом далеко, – ответил Прохор и погладил своей лапой маленькую, с розовыми ногтями кисть руки. – Разрешите два слова по телефону...

Маша, подслеповатая и пожилая, – за одну прислугу – убирала со стола чай, пустые бутылки и закуску. Все трое были порядочно подвыпивши.

– Алло! Филатыч, ты? А я в одном доме задержался, у купца Серебрякова. Не жди. Ночую здесь. Ну, до приятного...

Он повесил трубку. Авдотья Фоминишна хохотала с каким-то задорным нахальцем, интригуя.

– Одна-а-ко... Одна-а-ко... – тянула она густым контральто. – Это мне нравится... Ха-ха!.. Так-таки без приглашенья? Одна-а-ко... И не стыдно вам?.. – Она допила бокал шампанского. Влажные губы ее ждали поцелуя. Глаза искрились по-грешному.

Прохор стоял, прислонившись спиной к печке, молчал, дышал, как зверь. Его распяляла страшная внутренняя сила.

Хозяйка подняла брови, пожала наливными плечами и, как бы прося пощады, страдальчески улынулась.

– Маша! – капризно крикнула она. – Маш! Приготовьте постель. И – меня нет дома. Я ночую у купца Серебрякова.

Тут все трое, вместе с рассолодевшей Машей, разразились громким смехом.

...Ночью инженер Протасов занес в неписанный дневник своего сердца:

«Удивительная эта женщина, – думал он. – В ней всякого жита по лопате. Святость борется с грехом. Сюда же вплетаются социалистические мысли. Но купеческая православная закваска и влияние отца Александра, этого древа без цветов, доминируют. Сказано: “Клин клином вышибай”. Но как, как, если я почти люблю ее, а она влюблена в своего Христа? Разговор (в тысячный раз, на ту же тему):

– Удовлетворены ли вы семейным счастьем?

– Нет. Но принуждаю себя верить, что – да.

– Ради чего хотите обмануть свое сердце?

– Ради клятвы пред алтарем.

– Ну, а ежели встретится человек, который войдет в ваше сердце и вытеснит из него всё, всё целиком, все прежние чувства ваши и привязанности? Все ваши алтари?

– Я пройду мимо такого человека. Я буду страдать до конца, до смерти, до пакибытия¹...

Она старалась говорить спокойным голосом, не встречаться со мной глазами, но ведь я-то чувствовал, как она вся внутренне дрожала, сопротивляясь самой себе. Я тоже пробую бороться с собой. Во имя чего – не знаю. В конце концов мы будем вести сладостную войну друг с другом. За кем победа? Теория вероятности подсказывает ответ. Всяческие комбинации возможны. Любовь дремлет в моем сердце, как в дереве потенциальная сила огня. Черт знает! Чувствую, что в душе моей крепнут чужие и чуждые мне путы. Ушел, поцеловал ей руку. Она поцеловала меня в лоб. От нее исходила какая-то заразительная и согревающая кровь чистота. Божественная женщина!»

В семь часов утра две головы под одеялом повернулись лицом к лицу, повели разговор и разговорчик. Было совсем светло. Поднялось над тайгой солнце.

– Вероятно, дядя назначит сюда жандармского ротмистра. Как ты к этому относишься?

Наденька молчала. Стражник не ночевал сегодня. Надо подыматься, ставить самовар, а неохота...

– Я предан престолу. Мой отец – герой турецкой кампании. Цель моей жизни – разоблачать всяческую сволочь, вроде Протасова. А как думаешь, Нина Яковлевна его любит?

– Пока ничего не могу сказать тебе, Владенька. Потом разнюхаю. Да, по всей вероятности, наклеивается что-то...

– Я желал бы, чтоб Кэтти стала моей любовницей. Возможно это?

Наденька, как на булавках, быстро повернулась лицом к стене.

– Пани Надежда! Я ж пошутил.

Наденька, вздохнув, сказала:

– Она влюблена в Протасова, а Протасов у меня в руках. Кой-что знаю про него, про сицилиста. Захочу – тыщу рублей возьму с него, не меньше. Владенька, а когда ж ты мне яду дашь из лыбылатории своей? – И она повернулась к нему лицом.

Парчевский не ответил. Помолчав, спросил:

– Я тебе, кажется, пятьсот должен? Можешь одолжить еще сто рублей?

– А ты меня любишь?

– Нет.

– Дурак!

Парчевский наморщил белый лоб и помигал обиженно.

– Я рабочих по морде бью, а Протасов с ними антимонии разводит. Я предан престолу... Ха-ха! Стачка, забастовка... Сволочи!.. Стрелять надо. А для чего тебе яд?

¹ Новое бытие, возрождение. Здесь и далее прим. ред.

– Не любишь – и отчаливай. Другого счастливым сделаю. А ты сиди в этой трущобе, сиди, получай свои сто пятьдесят...

– Ты не знаешь, отчего я сижу здесь?

– Нет.

– Дура!

– Сам дурак!

– Дура в квадрате!

– Полячишка тонконогий!

– Дура в кубе! Я, к великому несчастью, картежник. Проиграл на службе в России казенных тысяч семь. Ну у меня связи, – не судили. Однако со службы выгнали, опубликовали в приказе по министерству. Нигде не берут. Благодаря дяде попал сюда.

Наденька шупала свою бородавочку, соображала.

– Я очень, очень богатая, – сказала она. – Мне довольно. Убегу. И захоровожу себе дружка. В Крым уедем, а нет – на Кавказ. Вот куда.

– Да тебя пристав со дна моря вытащит.

– Либо меня вытащит, либо сам утонет.

Пили чай с вареньем, со свежими оладьями. Парчевский не торопился. Шел дождь, рабочим урок задан, Громова нет дома – не беда и опоздать, не важно. Он взял сто рублей, надел запасный архалук² стражника, поднял башлык и вышел в дождь, в простор. Поди-ка узнай его.

Рабочие пошабалили в семь вечера. В это время в Питере был в исходе лишь второй час дня. Сей дальний бок земли освещался солнцем много позже.

Проход открыл глаза и осмотрелся. Великолепная спальня карельской березы с бронзой. В широком зеркале отражается кровать, на которой он лежит, и балдахин над нею. Поясной, масляными красками портрет какого-то купца. Под его круглой бородой золотая медаль, а в петлице – орден.

Проход зевнул, потянулся, бесцеремонно крикнул:

– Дуня! Маша!

В спальню вошла в светло-розовом, без рукавов, пеньюаре Авдотья Фоминишна с горячим кофе на подносе.

– Бонжур, – сказала она хрипловатым контральто.

– Да-да, – промямлил гость, любуясь рослой женщиной, обладательницей здоровой красоты.

– Как почивали? – Она скользнула взглядом к зеркалу и придала лицу невинную девичью улыбку.

– Сладко спал. Видел такие сны, такие сны. Черт бы их драл, какие анафемские, грешные были сны!

С обольстительным жестом розово-белых рук она подала ему закурить.

– Мне снилось, что Авдотья Фоминишна Прахова едет со мной. Я ей строю дом в живописнейшей местности, на берегу Угрюм-реки.

– Угрюм-реки? Какие роскошные слова!..

– Обстановка княжеская, пара рысаков, прислуга и двадцать пять тысяч в год...

– А костюмы?

– Костюмы отдельно. По субботам – ванна из шампанского.

– А что ж говорила вам во сне ваша жена?

– Она сказала, что это ее не касается. У нее дочь, райские сады, школа, у меня жизнь, дела. Согласна, Дуня? Сколько тебе платит вот этот? – И Проход ткнул в бороду портрета.

² Кавказский кафтан с высоким стоячим воротником.

– Милостивый государь, вы очень грубы! – Грудь женщины вздымалась, как волна, сердце злилось, но серые прекрасные глаза, похожие на милые глаза Анфисы, гладили Прохора по сердцу.

Авдотья Фоминишна, закинув ногу на ногу, сидела на козетке, курила, пускала дым колечками. Под взбитой челкой, за белым лбом шел бешеный торг; шла купля и продажа, прикидывалось «за» и «против», сводились барыши. Лакированный каблук набитой такими же мыслями туфельки нервно постукивал в ковер.

– Я жду ответа. – И Прохор бросил окурочек в недопитый кофе.

– Пожалуйста за ответом через три дня, – скрипнула туфелька, и красные пуговицы на пеньюаре улыбнулись.

Хозяйка нюхнула из граненого флакончика нашатырного спирту. Хозяйка с волнением переоценивала ценности. И все в ее мире, там, под этою рыжею челкой, за белым лбом, сорвалось со своих основ, сцепилось, перепуталось: полуседая борода портрета с черными лохмами сибиряка, молодая сила с немощью, величаявая Нева с Угрюм-рекой, блеск и шум столицы с мерцающими буднями провинции, реальные величины в настоящем с неведомыми иксами грядущего. Но Авдотья Фоминишна давно забыла математику; предложенного гостем уравнения ей сразу не решить.

– Нет, нет... Только не сейчас... Нет-нет, – звякали золотые обручи в ушах. Авдотья Фоминишна отрицательно потряхивала головой, и, чтоб не упустить бобра, она голубиным голосом проворковала:

– Вы мне очень, очень нравитесь. Мне тоже ночью снился сладкий сон.

4

Тем временем Илья Сохатых собирался праздновать день своего рождения. Он разослал по знакомым двенадцать пригласительных карточек.

«Свидетельствуя Вам и всему Вашему семейству отменное почтение, Илья Петрович Сохатых с супругой Февроньей Сидоровной приглашает Вас почтить их своим присутствием по случаю высокаторжественного дня рождения многоуважаемого Ильи Петровича Сохатых».

У него имелись также и поздравительные карточки с «Рождеством Христовым», с «Новым годом», со «Светлым Христовым воскресением». Подобные же карточки существовали и в обиходе Громовых; Прохор сотнями рассылал их по деловым знакомым всей России. Но у Прохора карточки самые обыкновенные, дешевка. У Ильи же Петровича – с золотым обрезом, с золотой короной наверху. Уж кто-кто, а Илья-то Сохатых правила высшего тона знает, у него всегда «парлеву франсе»³ на языке.

На сей раз каверзный случай сыграл над ним трагическую шутку: завтра день рожденья, а у него все лицо горой раздуло, и глаза, как у свиньи, закрылись. Всему виной дурак дедка Нил, колдун и «чертознай». Ноги ноют, опухают, застарелый ревматизм, доктора нет, фельдшер помер – к кому за помощью идти?

– А вот, сударик, – сказал ему дедка Нил, – шагай благословись на пасеку, растревожь веничком пчелу, а сам разуйся и портки – долой. И навалятся на голо место пчелы, нажгальят хуже некуда. И – хворь, как рукой.

И вот Сохатых в этакое-то время... Эх! Ведь он у хозяина на большом счету, ведь он доверенный в мануфактурной лавке, а там товару на сто тысяч; три приказчика, два мальчика.

³ Parlez-vous français (*фрп.*) – вы говорите по-французски.

Послал Илья досматривать за торговлей свою супругу, сам весь в компрессах, а на стуле – дьякон Ферапонт.

– Я, знаете, отец дьякон, – повествует Илья, – обрадовался такому идиотскому рецепту, снял штаны с кальсонами да ну по ульям венником хвостать. Они и взвились... Я, исходя из теории, к ним задом норовлю да ноги подставляю, они на больные ноги два нуля внимания да как начали мне в морду стегать...

– Хо-хо-хо – в морду? – погромыхивал дьякон Ферапонт.

– Я, понимаете, от их щелчков прямо округовел, не знаю, куда по традиции бежать. Загнул на башку рубаху да во весь дух по лестнице домой. А там – двух девок да солдатку черт принес, девки как взвоят от голого изображения, а тут в хохот. А я уж и очами не могу взирать, оба глаза затекли... И как я не ослеп...

Дьякон раскатисто хохотал, пожирая пятый огурец, и все выпытывал у потерпевшего, не ослепли ль девки.

– Завтра день рожденья... Но это сверх возможности. А я вот что, я сделаю в дне рожденья опечатку на три дня.

Действительно, он чрез подручного разослал новые пригласительные билеты с припиской:

«Вследствие позднейших данных церковной метрики мой день рождения имеет бытность не в понедельник, а в четверг на той же неделе, т. е. на три дня позже».

Что ж, три дня не срок, и Прохор Петрович явился за ответом. Вместо ответа был полу-ответ, тире иль новый знак вопроса: тот самый «сам», зримый облик которого запечатлел на полотне искуснейший художник, задержался на Урале дня на четыре, на пять. Она объявила это Прохору, припав пуховой грудью к его стальной груди, и притворно виноватые, но все же милые глаза ее просили снисхождения. Она сказала:

– Я постараюсь, чтоб время, проведенное в моем доме, показалось вам приятным.

Он ласково провел ладонью по ее густым рыжим волосам, закрыл и опять открыл ее глаза, всмотрелся в них, поцеловал:

– Анфиса? Нет, не Анфиса... Та совсем, совсем другая...

– Что с вами?

– Так. Прошло... – Он отмахнул назад свои черные вихры, и глубокий с хрипом вздох упал в наступившее молчание.

Был вечер. Высокая лампа под шелковым сиреневого цвета абажуром горела у стола. Воздух гостиной отдавал застоявшимся сигарным дымом. Прохор вяло спросил:

– У вас были мужчины?

– Да, вчера. Кой-кто из знакомых. Дулись в картишки. Я сейчас прикажу затопить камин...

На звонок пришла опрятно одетая горничная.

– Принесите фрукты и ликер. Затопите камин.

Прохор сидел с закрытыми глазами у стола. Мрачное настроение исподволь охватывало его, давно забытое навязчиво вспоминалось с резкой ясностью. Прохору становилось мучительно и страшно.

– Вам нездоровится?

– Нет... Так... Пьянствую все... Надо бросить.

– Подите, прилягте до гостей... Будет князь Черный, граф Резвятников, еще кой-кто. Коммерции советник Буланов...

– Дайте немного коньяку.

Мадам позвонила, и резко позвонили у парадной. Вошли двое.

– Знакомьтесь... Мсье Громов, сибиряк. Лейтенант в отставке Чупрынников, статский советник Дорофеев.

Протянув руку черноусому, с брюшком, Чупрынникову, Прохор оказал:

– Я вас как будто где-то встречал...

– Не припомню, нет, – ответил тот басом и сел.

– Вы не поручик Приперентьев?

– Нимало... Ха-ха... Про такого не слышал.

– Очень похожи, – сказал хмуро Прохор. – Дело в том, что его золотиносный участок по закону достался мне...

– Ах, вот как? Поздравляю... Ха-ха, – ответил лейтенант в отставке. – Ха-ха!.. Прекрасно. По закону, извоили сказать? Так-с?

Прохор внимательно наблюдал его, с внутренним содроганием вслушивался в его голос: «Что ж это, галлюцинация? Перестаю узнавать людей? Чего доброго, какому-нибудь обер-кондуктору нос откушу? Брошу, брошу пить, брошу». И, противореча самому себе, он выпил стопку коньяку и потянулся к вазе за цукатами.

Лейтенант в отставке Чупрынников сидел в тени и тоже наблюдал Прохора Петровича.

Статский советник Дорофеев – коротконогий, квадратный, апоплектического сложения – открыл рояль, взял несколько аккордов, затем подтянул вверх рукава темно-зеленой визитки и заиграл одну из грустных мелодий Грига.

Пришли еще двое: высокий пожилой актер драмы и вертлявая, в коротеньком, голого фасона, платьице, мадемуазель Лулу. Эта пара сразу внесла смех и общее оживление. Певица затараторила так быстро, как будто у нее четыре проворных языка:

– Послушайте, послушайте, какой скандал. Любовник прима-балерины Зизи, князь Ш., вlepил затрещину ее ухажеру, милому мальчику кадетику Коко. И прелестные получены бананы, да, да, у Елисеева. У бельгийского посла вчера оценилась сука – дог. Роды были трудные, акушеру пришлось накладывать щипцы, ха-ха, смешно... собака и... щипцы. Тенор Панов на арии «милые женщины» дал петуха, галерка свистала. Сенатору Б. в Английском клубе подменили шинель в бобрах на какой-то драный архалук.

– Ах, сибиряк? Очень, очень лестно... Вы такой же холодный, как и ваша страна?

– Да, такой же.

– Аяй, как это нехорошо. – И Лулу, как зачарованная, влипла горящим взором в бриллиант на мизинце Прохора.

– Что же, перекинемся? – с нетерпением проговорил лейтенант в отставке и прищурился в глаза хозяйки.

– Как, дорогие друзья? – спросила хозяйка. – Может быть, сначала чай?

– И то и другое... Господин Громов, вы, разумеется, играете?

– Конечно же, конечно! – ответил за него хор голосов, голодных, жадных и завистливых.

– Да, играю... – проговорил Прохор, глаза его загорелись злостью. – Мне хотелось бы сразиться с господином, с господином... – и он ткнул пальцем в черные лейтенантские усы. – Простите, с вами...

– Принимаю, принимаю, – ответили усы, радостно подкашлянув.

– Авось мне удастся оттягать у вас золотиносный участок... Вы ж сами предлагали мне эту комбинацию... Впрочем, участок и без того мой.

Левый лейтенантский ус опустился вниз, правый полез кверху, наглые глаза открывались шире, шире:

– Что вы хотите этим, милостивый государь, сказать? Господа, среди вас нет врача?

Вместо врача вошел, поводя плечами, высокий старик с надвое раскинутой седой бородой; его тугий живот весь в золотых цепях, висюльках.

– Добрый вечер, добрый вечер, – круглым, старчески-блеклым голосом приветствовал он на ходу гостей. Хозяйка встала ему навстречу:

– Степан Степаныч Буланов, коммерции советник. А это мой новый друг – сибиряк... Господа, прошу в столовую.

Стол богато сервирован и уставлен закусками и винами. На отдельном, с зеркальной крышкой, столике фасонистый самовар пускал пары.

– Самоварчик, дорогой мой, – блаженно закатил глаза Степан Степанович, купец. – Шумит, фырчит... Хозяюшка, а липовый медок есть к чайку? Спасибо... Да, господа, люблю все русское, все самобытное... Ведь я по убеждению славянофил... Аксаков, Самарин, Хомяков... Да, да, кой-что и мы читали в дни юности... Ну-с, где прикажете садиться? – Купец подобрал полы сюртука и сел возле хозяйки в кресло.

Звонок телефона. Хозяйка вышла и тотчас же вернулась.

– Прохор Петрович, вас просят к телефону. Телефон в спальне.

Она плотно притворила за собою дверь, положила оголенные руки на плечи Прохора:

– Милый, дорогой, радость моя... Никто тебе не звонил... Прощу тебя, не играй по крупной.

– Я вовсе не буду играть.

– Не будешь? Почему? – И в ее прекрасных глазах промелькнула тревога. – Впрочем, да, ты прав. Тебе в карты не везет. Тебе в любви везет... – Она надолго, как спрут, впилась в его губы и, оправляя на ходу волосы, вышла.

Чай разливала горничная. Лулу хохотала, тараторила сразу с тремя гостями, чокалась, хлопала рюмку за рюмкой рябиновку, коньяк, мадеру. Купец намазал свежий огурчик медом и хрустел.

Подошли еще два франта. Гостей собралась целая застольница. И среди них, в розовом шелковом платье с искусственными незабудками у левого плеча, очаровательная Наденька. Самого пристава не было, он по делам в отъезде.

Ну, что ж, причина уважительная, хотя очень жаль... И новорожденный Илья Петрович предлагает тост:

– За отечественного героя, знаменитого Федора Степаныча господина отдельного пристава Амбреева и вообще за русский либерализм... Ура!

Отец Александр отсутствовал, поэтому дьякон Феррапонт, не щадя ушей собравшихся, рявкнул «ура» так, что все восторженно захохотали.

Ужин только начался. Пред каждым гостем – меню, отпечатанное в канцелярии на ремингтоне и с нарисованной пером Ильи Петровича короной.

Первым блюдом – три сорта пирогов: с капустой, с осетром и с яйцами. Вторым блюдом – пельмени а-ля Громов. Третьим блюдом – дикие утки по-бельгийски. Четвертым – какое-то крошево из оленины, сохатины, рябчиков, под названием «мясной пломбир а-ля Илья Сохатых». Потом шли кисели из облепихи, ежевики, клюквы.

– Господа! Прощу великодушно извинить, – кричал подвыпивший новорожденный. – Мороженое, как полагается в порядочных домах, теоретически не вышло, за отсутствием снега. Пожалуйста на ужин в Рождество Христово.

Дьякон подарил новорожденному собственной поковки для собаки цепь, Наденька – бисером вышитый кисет «на память». Нина Яковлевна прислала кожаный портфель с серебряной монограммой, увенчанной короной (хозяйка знала вкусы подчиненного), в портфеле поздравительная записка: «Очень извиняюсь, что лично не могу, хворает Верочка», – а в записке 100 рублей. Анна Иннокентьевна – три пары теплых, собственноручно связанных носков, а супруга – теплый набрюшник из заячьего меха.

Илья Петрович все подарки разложил на видном месте, в переднем углу под образами.

Но самый главный дар был от насмешника студента Образцова. Талантливый юноша, зная, что Илья Петрович завзятый любитель всяких «монстров», торжественно преподнес хозяину стариннейшую кожаную деньги с надписью древнеславянской вязью: «Овраам адна капек». Александр Иваныч Образцов собственноручно изготовил эту редкость из ременного ушка ветхой гармошки, обкорнав его ножницами и с краев залохматив молотком. Но это ничуть не помешало ему с трогательным притворством вручить дар Илье Петровичу Сохатых.

– Монета стоит больших денег. Ей около семи тысяч лет. Времен библейского патриарха Авраама. Но она обошлась мне дешево, я выкрал ее в нумизматическом отделе Эрмитажа.

Илья Петрович открыл рот, прослезился, трижды поцеловал старый кожаный оборвыш, затем взволнованного Сашу Образцова и сказал:

– Господа! Вот дар, достойный именинника...

Вскоре после торжества каверзная проделка студента Образцова широко узналась. Огорченный Илья Сохатых получил среди знакомых кличку «Овраам».

На алюминиевой сковородке, заменяющей серебряный поднос, пачка поздравительных телеграмм и писем из больших сел, двух уездных городов и от Прохора Громова с Иннокентием Филатычем из Петербурга.

В конце трапезы, когда ударит в низкий потолок первая пробка дешевенькой «шипучки», Илья Петрович, оседлав вздернутый нос пенсне, торжественно огласит эти приветствия в честь собственной своей славы.

Но к сведению любезного читателя и по величайшему секрету от Ильи Петровича, автор в совершенно доверительном порядке должен заявить, что все эти приветствия были заблаговременно изготовлены самим Ильей Петровичем Сохатых на разного достоинства бумаге и на телеграфных бланках, когда-то прихваченных у знакомого телеграфиста. Немало потрудился новорожденный над изысканностью и остротою стиля поздравлений и над перепиской их с черновиков левою рукою, дабы не узнал был его собственный кудрявый почерк.

Впрочем, среди этого тщеславного хлама было одно натуральное письмо, облитое солеными слезами. Писала вдова Фекла из села Медведева, где проводил свою первую молодость Илья Петрович. И просила в том письме вдова Фекла хоть сколько-нибудь денег на воспитание приبلудного от Ильи Сохатых сына Никанора. И страшила в том горячем письме Фекла – в случае отказа – судом.

На торжественной трапезе это письмо оглашено, конечно, не было. Но мы слишком забежали вперед, до конца ужина еще далече – лишь подан румяный пирог с яйцами, – мы еще как следует не ознакомились с гостями, не слышали их разговоров-разговорчиков.

Присутствовали два приказчика: Пьянов и Полупьянов (между прочим, оба – великие трезвенники и оба – с рыжими бородками), еще громовская горничная Настя в вышедшем из моды, но великолепном платье «барыни». Она и вела себя соответственно, как барыня: на все фыркала, всех вслух критиковала, поджимала губки, разрезала пирог, картинно оттопыривая мизинчики, а когда сосед Насти, дьякон Ферাপонт, нечаянно щекотнул ее в бочок, она ойкнула, лягнулась под столом, сказала:

– Пардон, пожалуста... Не распространяйте свои кутейницкие руки...

Два великолепных жандарма – Пряткин и Оглядкин – сидели рядом возле узкого конца стола. Они, подобно Диоскурам, – копия один с другого, как двойники; рыжие усы их по-одинаковому закручены колечками, синие мундиры с аксельбантами – с иголочки. Илья Петрович гордится их присутствием, но в то же время и побаивается их, стараясь высказывать самые патриотические речи:

– Господа унтер-офицеры! Корректно или абстрактно будет провозгласить тост за драгоценное здоровье их императорских величеств?

– Вполне возможно. Ура!.. Ура-ура!..

Между жандармами и горничной Настей – лакей мистера Кука, придурковатый длинноногий Иван. Он во фраке и белых нитяных перчатках; они мешают ему кушать, но он решил блистать во всем параде. Кокетничает с горничной, видимо, влюблен в нее, услуживает ей, вздыхает и закатывает глаза под низкий, со вдавленными висками лоб.

– Это что за ужин? Это разве ужин? – брюзжит он в тон соседке. – Вот мы с мистером Куком устроим бал, чертям будет тошно...

– Пожалуйста, не задавайтесь, – улыбается шустрая, черненькая Настя. – Что такое ваш мистер Кук?.. Мистер, мистер, а сам голый вокруг дома бегают.

– Извиняюсь, это в видах здоровья.

– Вот мы устроим у Громовых бал, это да. Ай, не жмите ногу, ну вас!..

– А почему же ее не жать, раз она под столом? Я, может быть, сплю и вижу вас во сне совсем даже голенькой.

– Глупости какие!.. Воображение. Меня даже сам Прохор Петрович только два раза без ничего видел...

Горбатый, перебитый в драке нос Ивана сразу отсырел.

– Как, в каких смыслах без ничего?.. – страшно задышал он и вытер нос перчаткой.

– А это уж не ваше дело. Хи-хи-хи!.. Разумеется, нечаянно...

– Исплутатор! – И ревнивый подвыпивший Иван хватил кулаком в тарелку.

Еще среди гостей обращали на себя внимание своей цветущей свежестью Стешенька и Груня, любовницы Громова на вторых ролях. Одна постарше, другая помоложе; эта попышней, а та посухошавей; эта с челкой и в кудерышках, а та с гладкой прической, как монашка. Обе сидят рядом, обе в жизни дружны, обе попросту, без всяких воздыханий делят ласки повелителя, обе имеют по маленькому домику под железной крышей, обе гадают в карты, для кого Прохор Петрович ставит еще точь-в-точь таких же два домочка, обе по-одинаковому злобно ненавидимы Наденькой, любовницей пристава. Когда появились эти девушки, она сразу надула губы и хотела уйти домой. Новорожденному больших трудов стоило уговорить ее, новорожденный страстно был влюблен и в Стешеньку, и в Груню. За эту неразделенную, но часто высказываемую вслух любовь свою он всякий раз получал от собственной властной супруги трепку; тогда кудри его летели, как шерсть дерущихся котов.

Были еще гости: механик лесопилки, почтовый чиновник с супругой и тремя детьми, из коих один грудной, десятник Игнатьев и другие.

Студент Александр Иванович Образцов сидел рядом с семипудовой Февроньей Сидоровной, хозяйкой, увешанной золотыми брошками, серьгами, кольцами, часами и браслетами. Она, назло мужу, всячески ухаживает за студентом, а студент за нею:

– Кушайте икорки, подденьте на вилочку рыжичков... Собственной отварки. Выпейте наливочки... Ах, заходите к нам почаще...

– Благодарю вас... Да, геология вещь сложная. Как я уже вам сказал, петрография – есть наука о камнях.

С юным пылом знатока он рассказывает ей про осадочные и магматические породы, про силурийскую и девонскую системы, о природе золота, а сам все плотней придвигается к сдобной, как слоеный пирог, хозяйке. Та, ничего не понимая в геологии, с женским упоением ловит сладкие звуки его голоса, глядит ему в рот и нарочно громко, чтоб слышал муж, хвалит своего молодого соседа. Но муж глух, не любопытен, муж перестреливается взорами со Стешенькой и Груней.

– Представьте себе – золото... Это ж чудо! Оно самый распространенный по земному шару металл, но в малых дозах. А вы знаете, что самый большой самородок, весом в шесть пудов, был найден в Австралии? А вы знаете, на вас нанизано столько этого драгоценного металла, что можно бы на вашей груди открыть прииск...

– Ха-ха-ха!.. Какие вы, право... Очень красивые... – и на ухо: – Хотите, подарю колечко?

Публика уже изрядно напилась, когда подали в трех мисках горячие пельмени.

– Господа поздравители! – встал, постучал вилкой о тарелку Илья Петрович, и запухшие глазки его широко открылись. – Во всех менях, которые лежат перед вами, как в аристократии, пельмени названы мною а-ля Громов в честь моего глубокопочтимого патрона Прохора Петровича.

– Исплутатор! – крикнул лакей Иван. – Голых наяву видит!.. Девушков!..

– Засохни!.. Вредно, – предупредительно пригрозили ему жандармы.

– Мы с Прохором Петровичем обоюдно ознакомлены, когда они были еще прекрасный выюнош без бородки, в бытность их папаши, Петра Данилыча, который благодаря Бога в сумасшедшем доме...

– Сплутаторы!.. – еще громче заорал лакей.

– Молчи, дурак! – топнул пьяный Илья Петрович. – Сначала привыкни произносить. Такого русского понятия нет, а есть ек-сплу... стой, стой!.. ек-спла...

– Таторы, – подсказал студент и, вспыхнув юной страстью, погладил под столом мясистую коленку задрожавшей всеми телесами, ошастливленной хозяйки.

– Господа поздравители! Прохор Громов это ого-го! Это мериканец из русских подданных...

– Сплутатор! – вскочил Иван и бросил свою тарелку на пол. – Ужо мы с мистером Куком... Надо бунт бунтить! Бей! Ломай! – И он ударил об пол тарелку жандарма Пряткина.

Поднялся шум. Ивану жандармы старались зажать рот. Иван мотал головой, вопил:

– Бастуй, ребята!..

И сразу хохот: дьякон Ферапонт, схватив Ивана за шиворот, молча пронес его в вытянутой руке до выхода, выбросил на улицу, вернулся, швырнул обрывки фрака к печке и так же молча сел.

Тут брякнул в окно камень, и площадная ругань густо ввалилась в разбитое стекло. Через мгновение градом посыпались стекла от удара колом в раму. Женщины, как блохи, с визгом повскакали с мест.

Через все лицо Прохора Петровича, от искривившихся губ к мутным, неживым глазам, прокатилась судорога.

– Ваша карта бита...

Где-то там, в меркнувшем сознании, свирепел хохот мадемуазель Лулу и дребезжал бряк пьяного рояля. Волны табачного дыма густо застилали воздух...

Прохор достал последние двадцать новых сторублевок, бросил на стол, сказал:

– Ва-банк!

И танцующие пары, как куклы, проплывали, вихрь, мимо картежного столика – кавалеры, дамы, валеты, короли, тузы, дамы, дамы... Так много женщин!.. Откуда они взялись? Легкокрылая Лулу в паре с франтом. Она вся в вихре страсти, лицо ее вдоль расколосось пополам: половина в буйном хохоте, половина исказилась в страшном безмолвном вопле. От потолка по диагонали прямо к Прохору двигались скорбные глаза Авдотьи Фоминишны; они улыбались всем и никому, они взмахнули ресницами, исчезли.

Против Прохора похрустывал новою колодой карт отставной лейтенант в ермолке и сдержанно, однако ехидно ухмылялся:

– Ну-с? Вы изволили сказать: ва-банк.

Прохор прекрасно теперь знал, что это не Чупрынников пред ним, а ловко загримированный поручик Приперентьев.

– Итак, ва-банк?

– Да, поручик.

– Нет, лейтенант в отставке, если угодно...

– Приперентьев?

– Чупрынников, Чупрынников.

– Ах да, простите, – сказал Прохор сквозь стиснутые зубы. – Того мерзавца, Приперентьева, часто бьют по башке подсвечником. Он шулер.

– Не знаю-с, не знаю-с.

– Дуня! Авдотья Фоминишна! – крикнул захмелевший Прохор. – Не пускай к себе этого нахала Приперентьева; он мерзавец, он шулер... Моховая, тридцать два. Встречу – убью его... Он на содержании у своей хозяйки, немки... Амалии Карловны...

И все засмеялись.

– Милый сибиряк, – как звук виолончели, мягко молвила Авдотья Фоминишна и положила ему белую руку на плечо, – баста играть.

– Ваша карта бита.

Прохор встал или не встал – не знает. Прохор двигался по комнате, ощущал свое тело, крепко пристукивал каблуками в пол, плыл или плясал – не понимает, мысль отсутствовала, соображение одрябло, чековая книжка, чеки, валеты, дамы, короли, рука пишет твердо, стол тверд, четырехуголен, на мизинце бриллиант, в уши, как по маслу, змейками вползают звучащие с нулями цифры.

– Благодарю вас. Ну-с?

– Ва-банк!..

Ночь. Часы отбрякали сто раз. И грянула пушка – пробкой в потолок.

– За процветание Сибири! За мой прииск там, в тайге, – гнилозубо хихикают усы в ермолке.

– Врете, мерзавцы! Вам не отравить меня...

Часы пробили сто двадцать раз. Грянула вторая пушка.

Пропел петух. Взбрехнула на ветер собачонка. Ночь. Проходя мимо дома Наденьки, дьякон Ферапонт набрал полные легкие черной, как сажа, тьмы и страшно рывкнул по-медвежьи. Привязанная за столб верховая лошадь стражника взвилась на дыбы, всхрапнула и, выворотив столб, помчалась с ним, взягивая задом, в сонную тайгу, в гости к настоящему медведю.

5

Прохор проснулся в час дня с непереносимой головной болью. Он подвигал бровями – глаза ломило, обессиливающее недомогание опутывало все тело тугими арканами. В сознании все вчерашнее смешалось в кашу, помутневшая память ничего не могла восстановить – сплошной какой-то бред. Он не помнил, как попал сюда, на этот пуховик под балдахином, в соседство к бородатому портрету на стене.

– Что вы со мной сделали? Я болен.

Сидевшая возле него Авдотья Фоминишна, сбросив пепел с папиросы прямо на ковер, недружелюбно ответила ему:

– Вы вели себя вчера непозволительно. Вы забылись, вообразили, что вы в тайге, а не в приличном доме. Как же вы осмелились звать меня в свой дикий край, вы, вы, с характером и нравом бандита? Я удивляюсь вам. Я очень, очень скомпрометирована вами в глазах моих друзей.

– Кто ваши друзья? Шулера они, налетчики, или князя, или и то и другое вместе?.. Я что-то помню смутное такое... Впрочем, я все помню ясно. Дайте мой пиджак. Спасибо... Ага, денег нет? Прекрасно! Чековая книжка, где чековая книжка? Так, чек вырезан. Сколько я подписал? Сколько подписал?! Ах, вы не помните, не помните?! Прекрасно! Все будет должно прокурору. Вы оплатитесь!

Поток колючих слов он выпалил в запальчивости, переходящей в гнев. Она встала, отодвинула величественную свою фигуру к стене с портретом и гордо откинула отягченную копной рыжих волос голову. Черты ее лица утратили приятную гармонию, лицо стало напыщенно-надменно, в рябых, не скрытых притираниями веснушках, милые Анфисины глаза сделались глазами хищной рыси.

– Прежде чем вы наябедничаєте прокурору, к вам явятся секунданты оскорбленного князя Б., которого вы осмелились ударить, и... о, поверьте мне, поверьте, вы будете убиты на дуэли, как заяц! – Она уперлась затылком в стену и нахально захохотала, раздувая ноздри. – Вам здесь не Сибирь... Вы очень, очень распоясались...

Проход задрожал от негодования:

– Если это было бы в Сибири, вы качались бы на первой попавшейся сосне. А от вашего князя Б. остались бы одни усы. Выйдите отсюда! Я одеваюсь.

Он сорвался с кровати – она ушла. Одеваясь, он обдумывал план действия. Но в большую голову, которая раскальвалась и гудела, не вbredали мысли: сплошной поток обжигающего пламени гулял в душе. Оделся и, не простившись, вышел. Через четверть часа вернулся:

– Позовите барыню!

Он приблизился к ней вплотную – там, у нее в будуаре, – протянул, ладонями вниз, кисти рук.

– Где мой перстень?

– Я не знаю. – И рябые веснушки на ее лице от волнения потемнели.

– Вы знаете!

– Нет, не знаю.

Тогда он с каким-то сладострастием хлестнул ее по щеке ладонью. Она схватилась за щеку, заплакала и завизжала, как кошка, которой наступили каблуком на хвост.

Вдруг поясной портрет ожил, выросли ноги, надулось брюхо, настезь открылся зубатый рот.

– Этта што?.. Разбой?!

Бегемотом двинулся портрет в дверь будуара, и черная с проседью бородача его распустилась веером. Авдотья Фоминишна вскрикнула в истерике:

– Митя! Спаси меня! – и упала замертво.

– Вон! – стукнул в пол палкой, взревел портрет, и два здоровецких кулака встряхнулись под носом Прохора. – Вон, разбойник! Вон, налетчик! Застрелю!.. Эй, кто-нибудь!..

Проход ударил сапогом в бархатное брюхо, купец ляпнулся пластом, а простоволосый, без шляпы, Проход пробежав квартал, упал в пролетку, крикнул:

– Мариинская гостиница, ну. Пятрку!

– Гэп-гэп! – помчал лихач.

Жандарм Пряткин посетил влипшего в неприятности лакея. Иван стоял перед жандармом на коленях, целовал сапоги его, плакал. Жандарм страдал. Иван сбегал «до ветру», вернулся, достал из сундука десять серебряных рублей и коробку украденных у мистера Кука сигар. Жандарм ушел.

Нина Яковлевна совместно с отцом Александром вот уже вторую неделю – от трех до пяти дня – делает обход рабочих жилищ. Всюду одно и то же: грязь, бедность, злоба на хозяев, на себя, на жизнь.

Жалобы, разговоры, душевный мрак, безвыходность потрясали Нину. Она за это время осунулась, потеряла аппетит и крепкий сон. Сердце – как посыпанное солью, мысли – холодные и черные. Молитва – дребезг красивых слов; она валится из уст к ногам, бессильная, бесстрастная.

Старик Ермил жалуется Нине:

– Все бы ничего, все бы ладно. Мы привычны ко всему. Дело в том, харч шибко плох – тухлятина да прель. И, слышь, дорог шибко. А заработок – тьфу!

Нина – глаза в землю – согласно кивает головой, отец Александр преподает деду благословение, назидательно глаголет:

– Терпи, старец праведный, терпи... Господь терпел и нам велел.

– Терплю, батюшка, стисня зубы терплю... А ты, слышь, помолись за нас, за грешных.

– Молюсь, старец праведный Ермил, молюсь.

В бараке многосемейный слесарь Пров возвышает голос свой до крика:

– Нина Яковлевна, хозяйка, посуди сама! Работы наваливают выше головы: десять, двенадцать, пятнадцать часов бьешься – и весь мокрый... Ну, ладно... Мы работы не боимся, я на работу – прямо скажу – сердит. А что мы получаем? Грош! Ну, ладно, надорву силы, составлюсь, куда меня? Вон? Ага! Ты с хозяином жиреешь, а я что? А дети малые, а старуха? Ага! Вот ты встань на мое место – закашляешь.

Нина мнетя, жметя; одолевает досадный стыд. Слесарь Пров ласково, но сильно кладет ей руку на плечо:

– Ты, впрочем сказать, баба ладная. Ты правильная женщина. Нешто мы не видим, не чувствуем? Гараська! Вставай, сукин ты сын, на колени, кланяйся барыне в ножки! Кто тебе, сукин сын, сапоги-то подарил? А? А кто моей Марфутке шаль подарил? А? А кто мою бабу лекарствами пользовал? А? Все ты жа, ты жа, Нина Яковлевна!..

У Прова через втянутые щеки к усам – ручьями признательные слезы: он громко сморкается прямо на пол, садится к печке и дрожит. Нина тоже не может удержаться от нервных всхлипов.

– Ну, что мне делать, что мне делать? – в искреннем отчаянии ломает Нина Яковлевна руки. – Пров, ты умный, научи...

Слесарь отдувается всей грудью, беспомощно сопит. Нина ждет ответа.

– Я, может, и умный, да темный, – говорит он, сгибаясь вдвое и глядя в пол. – Ты ученая, ты на горе, у тебя все дела супруга твоего на виду. Только мы чуем – он над тобой, а не ты над ним. А ты встань над ним! Твои капиталы в деле есть? Есть. Вынь их, отколись от него, начинай свое дело небольшое, мы все к тебе, все до одного. Пускай-ка он попляшет... Уж ты прости, Нина Яковлевна, барыня, а мы дурацким своим умом с товарищами со своими вот этак думаем...

– Пров, милый, дорогой, – прижала Нина обе руки к сердцу. – Говорю тебе, а ты передай своим товарищам: я приложу все силы к тому, чтоб вам, рабочим, жилось лучше. Я буду требовать, буду воевать с мужем, пока хватит сил... Прощай, Пров!

Отец Александр выдал из походной кассы на семейство Прова двадцать пять рублей, благословил всех и скрылся вслед за Ниной.

Так проходили дни, так сменяли одна другую тяжелые для Нины ночи. Лежа в постели в белой своей спальне, рядом с детской, где пятилетняя Верочка, Нина Яковлевна напрягала мысль, искала выходов, принуждала себя делать так, как повелевал Христос.

«Раздай богатство, возьми крест свой и иди за мной». Ясно, просто, но для сил человеческих неисполнимо. Взять крест свой, то есть – принять на изнеженные плечи грядущие страдания и голой, нищей идти в иной мир, мир самоотвержения, подвига, деятельной любви.

– Нет, нет. Это выше наших сил...

Но далекий голос доносится до сердца. «Могий вместити, да вместит...» Да, да, это Христос сказал: «Если можешь так сделать – делай». А она вот не может вместить, не может отречься от пышной жизни, от славы, от богатства, не может уйти из этого чувственного, полного сладких соблазнов мира в мир иной, в сплошной подвиг, в стремление к пакибытию, в существование которого она в сущности и не так-то уж крепко верит.

– Верю, верю! Хочу верить, господи!..

Но монгольское лицо Протасова, язвительно улыбаясь умными черными глазами, медленно пронесит себя из тьмы в тьму, и сердце Нины мрет.

И нет Христа, и нет белой спальни. И нет Протасова. Только его мысль, как майский дождь, насквозь пронизывает ее воспаленное сознание и сердце.

Проход спал как убитый до вечера. Голова все еще шальная, деревянная. Пили чай в номере, из самовара. Проход во всем признался старикам.

– Ты, Филатыч, справился, сколько мерзавцы по чеку взяли?

– Пятнадцать тыщ ровно, – жалеющим, с жадничкой голосом сказал старик.

– Мне денег не жаль, плевать. Деньги – сор.

– Ничего не помнишь? – спросил тесть, поддевая из баночки варенье.

– Ничего не помню... Так кой-что... Может быть, со временем и...

– Эх-хе, – ядовито вздохнул Иннокентий Филатыч. – Жаль кулаков, а надо бить дураков...

– Кого?

– Тебя.

Проход не обиделся.

– Это тебя, парень, куколом опоили, – сказал тесть.

– Им, им! – подхватил Иннокентий Филатыч. – Нешто не знаешь? Травка такая увечная в хлебе растет. У нас она зовется – бешеные огурцы. Память отбивает.

Решили скандала не подымать, все предать забвению, скорей кончить дела, недельку покрутить, попьянствовать, да и домой.

Не хотелось Якову Назарычу вылезать из удобного халата, но Иннокентий Филатыч все-таки принудил, и все трое пошли осматривать город, не торопясь и в трезвом виде.

С Троицкого моста любовались осенним закатом. Солнце, растопырив огненные перья, садилось за Биржей, как жар-птица в пышную постель. Опалевый, светящийся тон неба, постепенно бледнея, мерк в зените. Врезываясь в разгоравшийся закат, темнели силуэты фабрик. Черный дым, клубясь, густо валил из труб, мрачным трауром оттеняя блеск небес. Группа кудластых облаков угрюмого цвета нейтральтина грустила над Биржей. Весь небосклон на западе стал тревожным. Но вот солнце скрылось, по горизонту, меж потемневшими громадами домов разлитым морем легла ослепительная лента пламени – и все в небе загорелось. Черные кивера дыма оделись алыми потоками; хмурые, цвета нейтральтина облака ярко подрумянились с боков, весело надули щеки. Зеркальные стекла задумчивых дворцов посеребрились белым светом. Вдвинутая в вечные граниты широкая Нева дробно отразила в своих сизых водах небесное пожарище. Опухшее от пьянства серо-желтое лицо Прохода оживилось. Новые зубы в удивленно разинутом рту Иннокентия Филатыча играли, как жемчуг.

Но вот, постепенно погасая, все слиняло. Обманщик-живописец сорвал с неба свои линючие краски чародея, посадил их снова на палитру, надел, чтоб не схватить насморка, галоши № 25 и, плотно закутавшись в серый плащ сумерек, с гремящим хохотом исчез в предночных сизых далях. Гремели трамваи, гремели по мостовым железные колеса ломовых. «Гэп-гэп!» – покрикивал лихач, вихрем пронося двух хохочущих красавиц.

Ловко одураченные мишурной красотой заката, друзья пошли на «Поплавок», подкрепились ушкой из живых стерлядок, выпили «на размер души» две бутылки зверобоею и, веселенькие, направились в театр.

Начиналось третье действие. Сибиряки – в первом ряду партера. Иннокентий Филатыч, как петух возле зерна, часто поклевывал носом. Артисты играли с подъемом, хорошо. Проходу понравилась высокая, со стройными ногами «жрица огня», Якову Назарычу – все двенадцать танцовщиц; он усердно молил судьбу, чтоб хотя бы у двух, у трех лопнуло трико. Он не отрывался от бинокля.

Но вот – «ночь спящих». Под мутным светом луны из-за кулис актеры, погруженные в волшебный сон, разметались по полу в живописных позах.

– Спящие, проснитесь! – звонко на весь театр возвещает прекрасная фея с золотыми крылышками.

Спящие не просыпаются. В зале раздается мерный храп Иннокентия Филатыча.

– Спящие, проснитесь! – вновь приказывает фея. Храп крепче. Прохор и Яков Назарыч трясут старика за плечи. Фея, суфлер и все «спящие» на сцене кусают губы, чтоб не захохотать. В первых рядах партера сдержанный пересмех и ропот.

– Спящие, проснитесь! – злобно кричит фея и взмахивает магическим жезлом.

Иннокентий Филатыч вдруг открыл глаза, чихнул и сам себя поздравил:

– Будьте здоровы... Что-с?

Вплоть до пятого ряда партер грохнул хохотом. Так, или примерно так, посещали они зрелища.

6

Прошло три дня. Вечер. Прохор в номере один; звон в ушах, тоска – нездоровится. Свечет счета, рассматривает прејскуранты машиностроительных заводов. Слуга подал на подносе два письма.

«Я по-настоящему начинаю открывать глаза на условия жизни наших рабочих, достающих тебе и мне богатство. Условия эти поистине ужасны. И мы с тобой одинаково бесчеловечны и одинаково повинны в этом. Лишь первые два года нашей жизни ты был достаточно внимателен ко мне и к своим рабочим. А потом тебя словно кто-то подменил: ты стал жесток, упрям и алчен.

Прохор, куда ты идешь и в чем у тебя цель жизни? Спроси свою совесть, пока она не совсем заснула. А ежели ты усыпил ее проклятой наркотической фразой: „Мне все дозволено“, – бойся своей совести, когда она проснется. Прохор, ты молод, подумай над всем этим и, пока не поздно, обрадуй меня. Поверь, отныне вся жизнь моя в печали».

Сердце Прохора перевернулось. Он протер глаза, с шумом выдохнул воздух и вновь перечитал письмо. Сидел он и думал, подперев голову рукой. В раздражении побарабанил по столу пальцами: «Дура баба» – и вскрыл пакет Протасова.

Двухнедельный отчет, цифры, сметы, предположения. Разумно, толково, правильно. В конце приписка:

«Рабочие высказывают открытое недовольство тяжелыми условиями труда и слишком низкой заработной платой. Ожидая Ваших экстренных распоряжений по пунктам улучшения общих условий жизни, изложенным ниже. Неисполнение или даже затяжка в исполнении этих пунктов может повлечь за собой дезорганизацию работ, а следовательно, и подрыв всего дела.

Пункт первый...»

Прохор внимательно просмотрел все пункты, и глаза его налились желчью. Он порывисто встал и несколько раз прошелся по комнате, ускоряя шаг.

– Ха-ха, ладно, ладно. Посмотрим... Сговорились, сволочи! Ха-ха, отлично.

Позвонил:

– Отнесите сейчас же телеграмму. Срочную.

Когда писал, губы его кривились, брови сдвинулись к переносице, лоб покрылся потом.

«Предоставляю вам право немедленно уволить до 500 человек рабочих. Точка. По соглашению с приставом мерами полиции выселить их за пределы резиденции. Точка. Мной ведутся переговоры по найму партии рабочих на Урале. Точка. О принятых вами мерах срочно донесите. Громов».

Отослав телеграмму, облегченно передохнул. Но волнение в груди не улеглось. За последнее время перестал нравиться ему Протасов: мудрит, заигрывает с рабочими, сбивает с толку Нину. Пусть, дьявол, умоется этой телеграммой, пусть. Прохор оперся спиной о мрамор холодного камина, и взбудораженная мысль его самовольно сделала скачок назад.

Перед ним зашелестели страницы записной книжки – там, на Угрюм-реке, в дни вольной юности. Истлевшие, давным-давно вырванные из сердца, забытые, они вновь восстали из времен.

Жаркий, окутанный дымом лесных пожаров день. Политические ссыльные тянут вверх по реке шитик. На шитике, на горе мягких подушек, под зонтиком заплывший жиром прощелыга торгош Аганес Агабабыч.

– Я бы на вашем месте утопил этого бегемота, что грабит мужиков, – говорит ссыльным Прохор. – Вот я тоже буду богат, но поведу дело иначе. Я не позволю себе эксплуатировать народ...

Так думал и говорил Прохор-юноша. Но Прохор-муж, Прохор-делец громко теперь хохочет над своими прежними словами.

За окном темно. Он задернул драпировки. Старинные куранты на камине мелодично отзванивают восемь. В дверь стук.

– Да, да.

Вошел в серой шинели военный, с бравой, надвое расчесанной бородой.

«Ага, секундانت... Дуэль», – мелькнуло в мыслях Прохора.

– Не вы ли господин Громов из Сибири? Честь имею... генерал Петухов, адъютант градоначальника, – звякнули серебряные шпоры. – Его превосходительство приглашает вас пожаловать к нему для некоторых переговоров.

«Пропал, донесли», – подумал Прохор. Но не испугался.

– К вашим услугам.

Вышли. Крытая карета. В ней два жандарма. Спустили шторы. Поехали.

– Вы не знаете, по какому делу? – спросил Прохор сидевшего рядом с ним генерала Петухова. – Я недавно тут... перенес... одну неприятность...

– Нет, нет, не беспокойтесь... Разговор будет носить чисто деловой характер. Впрочем, я вас должен предупредить... Давайте завернем ко мне и там обсудим.

– Очень рад, – сказал Прохор и шепнул генералу в ухо: – Я за благодарностью не постою...

Минут через десять лошади остановились. Как колодец – двор. Темная, с кошачьим смрадом лестница. Пятый этаж. Небольшой зал, похожий на деловую, коммерческую контору. На стене – поясной портрет Николая II. Четыре письменных стола. Один побольше, понарядней. Под потолком зажженная аляповатая люстра.

– Прошу! – Генерал уселся за большой письменный стол. Прохора усадил напротив себя спиной к входным дверям, возле которых вытянулись – два жандарма.

Прохор в замешательстве: не знает, по какому делу он здесь и как ему держаться.

– Ну-с, так-с... – Генерал поправляет очки на горбатом носу, чуть касается бороды кончиками пальцев и в упор смотрит по-серьезному на Прохора.

Прохор ждет неминуемой для себя грозы. «Донесли, донесли, влопался голубчик», – выбрякивает разбитое пьянством сердце. В мыслях Прохора быстро мелькают тени Авдотьи Фоминышны, ее подруги баронессы Замойской и самого градоначальника столицы. Сознание задер-

живается на понятии «градоначальник», и Прохор леденеет. Ежели вся эта грязная история докатилась до него, Прохору не сдобровать.

– Ну-с?.. так-с...

Генерал улыбнулся, нажал звонок, проговорил:

– Что ж... Выпьем по бокальчику. Для храбрости, – и заперхал в высокий красный воротник басистым хохотком.

– Благодарю вас, не могу, – соврал Прохор.

– Ну, как хотите, как хотите, – недовольно протянул генерал и щелчком пальца сшиб с мундира какую-то козявку.

– В сущности... Я бы... Но ведь мы собираемся к...

– Так, правильно. Но дело в том...

Тут из внутреннего помещения, раздвинув плюш портьер, явился человек в ливрее с синими отворотами.

– Лиссабонского! – приказал генерал, человек поклонился, подал вино. – Дело в том...

Вы думаете, что сам-то градоначальник трезвенник? Ого! Посмотрели бы вы... Дело в том, что вам назначено там быть без четверти десять – сейчас сорок две минуты девятого. Времени уйма... Итак... Ваше здоровье!.. – Генерал взял бокал, чокнулся с Прохором.

– Будьте здоровы, ваше превосходительство, – взял бокал и Прохор.

Генерал отхлебнул немного. Прохор залпом, жадно осушил до дна.

– Ага, – сказал генерал и позвонил. – Налей-ка, брат, еще, да балычку, икорочки...

– Может быть, сыр бри угодно вашему превосходительству?

– Давай сыр бри – повоняй, брат, повоняй.

Человек быстро исполнил приказание и вышел.

– Дело вот в чем... Пейте, пожалуйста, кушайте... Не желаете ли вонючки? Надеюсь, у вас в Сибири этой дряни нет. Живые червяки, мерзость, тьфу, смердит, а между тем – пикантно... Ну-с. Ваше здоровье!

Прохор выпил второй бокал и третий.

– Ну-с, дело вот в чем. Вы, если не ошибаюсь...

Прохор насторожился, но его мысли теперь летели вскачь, в голове гудело.

– Если я не ошибаюсь, вы... Впрочем... Сейчас, сейчас... – Генерал нажал кнопку три раза. – Так-с, так-с. Ага...

В комнату из-за малиновых портьер вошла высокая полная дама в черной, волочащейся по полу мантилье. На голове кружевная накладка с черным, закрывающим лицо вуалем.

– Он?

– Он.

Генерал ударил в ладоши. Подскочившие к Прохору жандармы вмиг скрутили ему полотенцем руки назад.

Прохор как во сне поднялся. Черная дама откинула с лица вуаль.

– Узнал?

Пораженный Прохор вскрикнул, силясь высвободить связанные руки, стал быстро пятиться в пространство. Ненавидящие, холодные глаза, мстительно сверкая, двигались за ним, настигали его, и вот они оба – лицо в лицо.

– Мерзавец! Бандит!.. Так на ж тебе, так на ж!! – И две ошеломляющие пощечины, от которых качнулся, рухнул потолок, обожгли его сердце до самых глубин. – Узнал?

Прохор ринулся грудью на женщину и упал, оглушенный тупым ударом сзади. Его топтали сапоги, волочили по полу; генерал, раскорячившись на четвереньках и потеряв накладную свою бороду, орал ему в оба уха, в рот. Но Прохор ничего не видит, ничего не слышит и не чувствует: он где-то там, вне бытия, в пурге, во взмахах снежной бури.

Теплый поздний вечер. Санкт-Петербург в огнях. Он еще не провалился, жив, цветущ. Плоский простор болот до сытости давно набит тяжелым камнем. Что было наверху высоких гор – разбито вдребезги и свалено сюда, в низину. И вот балтийского болота нет, остались лишь непобедимые туманы: седые, желтые, холодные. Они влекут на своих убийственных подолах хмарь, хворь, смерть.

Иннокентий Филатыч, как свекла красный, с серебристой, начисто отмытой бородой пешочком возвращается из бани. Под мышкой веник (подарит приятелю швейцару Мариинской гостиницы), в руке вышитый шерстью старинный саквояж с бельем. Вот чудесно. Хорошо попить чайку. Жаль, Анны нет, вдовухи-дочки. Сейчас бы на затравочку чайку домашнего, сейчас бы самовар, маленький графинчик водки – «год не пей, а после бани – укради, да выпей», поужинал – и спать. А встал – кругом тайга шумит. Вот жизнь!

А тут – шагай, шагай и в брюхо тебе, и в бок, и в спину, того гляди, под колеса попадешь, трамваи, извозчики, кареты, да моду взяли эти вонючие фыкалки с огнями по Питеру пускать. Улица, переулок, площадь, улица, еще два переулочка. Да туда ли он идет?

Но в это время лязг копыт, карета.

– Что вы! Куда вы меня тащите?.. Караул...

– Цыц! Вы арестованы.

«Господи, помилуй! Господи, помилуй...» Карета мчится в тьму. По бокам – жандармы... «Господи, помилуй, – два жандарма!»

Пятый этаж. На диване – Прохор. Чуть дышит. «Господи, помилуй, Господи, помилуй, жив или кончается?»

– Ваш?

– Наш.

Только два жандарма, боле никого.

– А и что случилось с ним?

– Генерал допрашивал. Сильный обморок. Со страху. С непривычки...

– Господи, помилуй... Господи, помилуй... – закрестился на портрет царя.

– После помолишься, папаша... Ну, с Богом...

Вниз по лестнице. Шляпа с мотающейся головы Прохора валится. Старик сует шляпу к себе в карман. Белый воротник рубахи Прохора замазан дрянью. Очень скверно пахнет.

– Сыр бри, – поясняет жандарм и приказывает кучеру:

– Пшел веселей! – И старику: – Ежели этим господским сыром, папаша, собаке хвост намазать – сбесится. А बारे жрут...

– Господи, помилуй! – крестится старик. Карета рывком летит вперед, старик то и дело ударяется головой в потолок, картузик переехал козырьком к уху, старик дрожит, Прохор мычит, сухо сплевывает, стонет.

– Мариинская, кажется? На Чернышевом?

– Так точно, – ляскает новыми зубами старец. Жандарм приоткрыл дверцу, осмотрелся, крикнул:

– Извозчик! Двадцать семь тысяч восьмисотый номер. Стой!

Извозчик – молодой парнишка в синем балахоне, в клеенчатой, жесткой, как жесь, шляпе – остановил лошадь:

– Ково? Ково тебе?

– По приказу господина градоначальника. Больной человек, при нем – сопровождающий папаша. Живо!.. Пшел!..

– Ково?! – закричал парень вслед уносящейся карете.

– По-по-по-поезжай, дружок... Я деньги уплачу... Господи, помилуй! Господи, помилуй!

На следующий день в «Петербургском листке» в отделе происшествий появилась заметка:

ЗАГАДОЧНОЕ УБИЙСТВО СИБИРСКОГО КОММЕРСАНТА П. П. ГРОМОВА

Дело было так. Прохора внесли в гостиницу. Собралась толпа. Засвистали постовые полицейские, начались звонки по телефону. Случившийся тут юркий вездесущий хроникер впопыхах расспросил трясущегося Иннокентия Филатыча, с его бессвязных слов тут же настроил заметку и помчался в редакцию, чтобы сдать в набор.

Впрочем, по пути он заехал в жандармское управление. Когда ему сказали там, что никакого ордера на арест Громова не выдавалось, хроникер вполне уверился, что тут дело пахнет уголовщиной.

Донельзя растерявшийся Иннокентий Филатыч стал в этой суматохе совершенно невменяем. Он бегал по гостинице с веником, разыскивал швейцара Петра, приятеля, чтоб вручить подарок. Наконец нашел его в каморке, под лестницей.

– А сегодня не мое дежурство, – сказал Петр. – Ах, ах, какое несчастье приключилось! Десять лет служу – такого не предвиделось. А ведь про вас жандармы-то спрашивали, пока вашего барина генерал брал: «Куда, мол, старичок ушел, давно ли да в какую баню?»

Иннокентия Филатыча окончательно вышибло из ума. Он обалдело глядел в лицо швейцара, сморкался и твердил:

– Господи, помилуй!.. Господи, помилуй!

Номер «Петербургского листка» с заметкой был через несколько дней получен в резиденции «Громово» инженером Парчевским. Кто прислал – неизвестно. Во всяком случае, ни тесть Прохора, ни Иннокентий Филатыч не присылали.

Читая заметку, Владислав Викентьевич Парчевский едва не лишился сил. Он дважды вспыхивал от бурного прилива крови, дважды белел, как мел. «Умер, Громов умер. Хозяин умер...» Он искал точки опоры – радоваться ему или горевать, – но все под ним качалось, плыло. Трясущимися руками он разболтал в воде порошок бромю и залпом выпил.

Черт возьми, как же?.. Нина Яковлевна... Молодая вдова... Бårdзо, бårdзо... Эх, осел, пся крев, дурак!.. Не мог он, бесов сын, своевременно увлечь хозяйку. Но пес же ее знал, что она так внезапно, так трагически овдовеет. Несчастливая Нина, несчастный инженер Парчевский! Все богатство, вся слава теперь, наверное, достанется Протасову. И слепцу видно, в каких он отношениях с хозяйкой.

«Нет, врешь, врешь, пся крев, врешь! Еще мы с тобой поборемся. Я с тобой, милорд Протасов, по мелочам рассчитывать не буду, а сразу, оптом».

Владислав Викентьевич Парчевский схватил фуражку и, позабыв надеть шинель, выскочил на улицу. А был холодный осенний вечер. На улице – ни души. Куда ж бежать? К Нине Яковлевне, к Протасову, к мистеру Куку?

Но вот вспомнилась Наденька, и Парчевский, не раздумывая больше, – быстро к ней.

Пристав дома – спал. Шептались в кухне. Наденька всплеснула руками, вся заметалась, бессильно села на скамейку. И тысячи мыслей, сбивая одна другую, забурлили в ее голове.

– Слушай, пойдем на двор.

– Ничего, Владик... Он пьяный, спит.

– Слушай! – лихорадочно зашептал он Наденьке в лицо, крепко прижимая ее руки к своей груди. – Слушай. Я с ума схожу... Слушай! Я должен жениться на хозяйке... Пстой, пстой, не вырывай своих рук, слушай... Фу, черт!.. Дай воды... Когда женюсь – неужели, ты думаешь, буду ее любить? Клянусь тебе Божьей матерью, что ты будешь моей самой близкой, самой дорогой гражданской супругой! А Нину я скручу в бараний рог... Нет, я с ума схожу... О, matka бозка, matka бозка!.. – Он, обессиленный, зашатался и тоже сел на лавку рядом с Наденькой. Та припала к его плечу и тихо заплакала.

– Владик, Владик!.. Милый Владик... – Она высморкалась и, вся содрогаясь, прошептала: – А как же пристав мой? Убьет. Дай мне яду из лабылатории...

– Не бойся. Мой дядя – губернатор, он немедленно вытребует его к себе, командирует на другое место, за тысячу верст... Устрою... Это не враг, это не враг... Враг мне в этом деле – Протасов... Сейчас же иди к нему, сообщи о смерти хозяина. В столичной газете... Я только что получил. И наблюдай, понимаешь, – тоньше наблюдай, как он, что он...

Нина еще не ложилась: одна пила вечерний чай, читала.

Встревоженно вошел инженер Парчевский. С особой почтительностью поцеловал хозяйке руку, сел.

– А я одна, скучаю... Очень рада вас видеть, – ласково сказала Нина, придвигая гостю чай и варенье. – Почему вы так редко бываете у нас?

Чтоб не выдать волнения, инженер Парчевский весь вспружинился, как бы взял себя в корсет.

– Нина Яковлевна, – задушевно начал он, – как я смел помыслить вторгаться в вашу жизнь, нарушая ваш покой, который я так... А между тем я бесконечно люблю семейный уют. О, если б мне судьба вручила...

– Что – хорошую жену? – кокетливо склонив голову, улыбнулась ему хозяйка. – Женитесь на Кэтти. Чем не девушка?..

Парчевский опустил красивую свою голову, мигал, безмолвствовал.

– Что? Любите другую?

Парчевский поднял голову, с тоскующим укором взглянул на Нину полными слез глазами.

– Да... Люблю другую, – глухо, трагическим шепотом выдохнул он, и снова голова его склонилась.

Чувствительная Нина, видя его печаль, и сама готова была прослезиться. Ей в мысль не могло прийти, что причина крайнего смятения Парчевского – ее же собственные миллионы. Не изошренная в тонких разговорах, касающихся щекотливых тем, она не знала, что сказать ему. Она сказала:

– Раз любите другую, то я не вижу причин, заставляющих вас жить порознь. Надеюсь, она свободна?

– Нет! – быстро подняв голову, ответил Парчевский, и горящие щеки его задергались.

Нине инженер Парчевский не был безразличен. Когда ему случалось бывать в обществе Нины, он всякий раз проявлял к ней необычайную любезность. Нина – женщина, ей это льстило. Но она объясняла такое более чем деликатное отношение к ней Парчевского хорошим воспитанием его. «Сразу видно, что человек из общества», – думала она. Однако Нина – все-таки женщина. И тайком от всех, а может быть и от самой себя, она, вглядываясь в приятные черты лица Парчевского, иногда мысленно взвешивала его, как интересного мужчину. Но в таких случаях мерилom ее грешных дум всегда вставал облик Андрея Андреевича Протасова, и мысль о Парчевском сразу же смывалась.

Впрочем, во всем и всюду – тормозящие моменты. При иных условиях, может быть, все было бы по-другому. За последнее время тормоз, удерживающий Нину в душевном равновесии, мало-помалу стал сам собой ослабевать. Истинная любовь к мужу заколебалась, в сущно-

сти – ее уж нет. Нина держит Прохора в своем сердце лишь как неуживчивого квартиранта, как отца ее Верочки, не больше. И если непрочное звено брачной цепи лопнет, тормоз сдаст – Нина-женщина может покатиться под гору.

Такой момент помаленьку приближался. Он слегка сквозил теперь в прекрасных опечаленных глазах Нины, в томных складках грусти, лежащих возле губ. Это заметил и талантливый актер Парчевский.

– Нина Яковлевна! Я всегда... совершенно искренно вам говорю, всегда, всегда был очарован вами.

– Спасибо, – потупившись, ответила Нина, и кончикам ушей ее стало жарко. Нина с интересом выжидала.

– Нина Яковлевна! Я всегда изумлялся вашему уму, вашему доброму, истинно христианскому сердцу. Я католик, но я христианин... И стоит вам сказать слово – я буду православным.

– Спасибо, – вновь протянула Нина, и печаль в ее взоре явно полиняла. Она теперь прислушивалась к вкрадчивому голосу Парчевского и сердцем, и умом. – Вы, кажется, очень религиозны?

– О, без сомнения! – с пафосом воскликнул атеист Парчевский и с великим ликованием сразу ощутил под ногами твердь для дальнейшей атаки Нинино сердца. – Я весь в матушку. Она была русская, – соврал он, – и фанатически религиозна. Я и теперь часто молюсь по ночам, вспоминаю свою святую мать и плачу...

– Какой вы милый! – в христианском сочувствии к нему сказала Нина, и сразу ей стало тепло возле него. – Как жаль, что... – и она не докончила, она хотела пожалеть, что ее близкий друг Протасов не такой. Она мечтательно откинулась в кресле, и горящие глаза ее устремились через потухший самовар, через вазы с фруктами куда-то вдаль.

Инженера Парчевского забила лихорадка. Он мельком взглянул на стенные английские часы – они приготовились бить десять – и решил, что время наступило. Наденька, наверное, уже успела закончить поручение, и Протасов вот-вот может появиться здесь. Итак, смелей! Минута промедления может все сгубить.

– Нина Яковлевна! – Парчевский поднялся во весь рост и сцепил ладони рук своих в замок.

Нина дрогнула духом и быстро повернулась в его сторону.

– Я должен, я должен открыть вам имя той, которая для меня дороже жизни.

Тонкие брови Нины взлетели вверх, рот полуоткрылся. Парчевский отступил полшага назад и безоглядно бросился, как в омут, к ногам Нины.

– Нина! Это – вы!

Нина вскочила и, сверкая испуганным взглядом, с мольбой всплеснула руками в сторону серебряной иконы Богоматери.

– Презирайте меня, плюйте на меня! Я тут же покончу с собой у ваших ног. Но я люблю вас!

– Безумец! – вскричала Нина, собираясь бежать из комнаты. – Как вы осмелились мне, замужней женщине...

– Простите великодушно, простите! – заламывая, как провинциальный трагик, руки, полз за нею на коленях Парчевский и рыдающим голосом воскликнул:

– Но вы – вдова!..

– Вдова?! – Нервы Нины на мгновение сомлели, но она тут же рассмеялась каким-то особым злорадно-тихим смехом. – Да-да... В некотором роде – да, вдова. Но это все-таки еще не дает вам права...

Она оборвала и вздрогнула: под самым ухом ее задребезжал телефон (в их доме почти в каждой комнате по аппарату).

Парчевский быстро поднялся, отряхнул платком колени, расправил складки брюк и – замер.

Разговор по телефону:

– Нина Яковлевна? Добрый вечер.

– Добрый вечер. Протасов, вы?

– Я. Скажите, вы ничего не получали из Петербурга?

– Нет.

– Хм... Странно, очень странно...

– А именно?..

– Я имею известие, которое мне кажется совершенно невероятным...

– Приятное, нет?

– Н-н-н... не совсем... Разрешите мне пригласить в ваш дом Парчевского и самому явиться к вам...

– Владислав Викентьич у меня...

– Ах, так вы знаете? Ну, как?

– Ничего не знаю...

– Странно, странно...

– Андрей Андреич, голубчик? Вы меня пугаете, – с надрывом задышала в трубку Нина. – Что-нибудь с мужем?

– Да.

Протасов немедленно приказал заложить лошадь.

Меж тем только Нина оторвалась от телефона, инженер Парчевский почтительно подал ей газету, сказав:

– Вы, как христианка, обязаны принять это известие мужественно. Судьбы Всевышнего Бога над нами. Езус Христус да поможет вам! – И он ткнул перстом в заметку.

Похолодевшая Нина, все забыв, села и скользнула взором по прыгающим строчкам:

ЗАГАДОЧНОЕ УБИЙСТВО СИБИРСКОГО КОММЕРСАНТА П. П. ГРОМОВА

«Вчера, в начале одиннадцатого вечера, на легковом извозчике № 27800 был доставлен в Мариинскую гостиницу со слабыми признаками жизни временно проживающий в гостинице сибирский богач П. П. Громов. Пока переносили его в номер, пострадавший умер. С ним в лучшем номере гостиницы проживали: его родственник сибирский купец Я. Н. Куприянов и служащий Громова Иннокентий Филатыч, старик, привезший Громова на извозчике. Этот старик, забывший от сильного душевного потрясения свою фамилию, рассказал нам следующее... и т. д.

Заметка заканчивалась так:

Тут, несомненно, налицо уголовное преступление. Вся столичная полиция поставлена на ноги. К открытию гнезда бандитов приняты энергичнейшие меры».

Газета была залита слезами Нины. Без истерики, без воплей, с чувством величайшего самообладания, однако забыв, что в комнате Парчевский, она подошла к переднему углу и стала пред иконой на колени. Инженеру Парчевскому пришлось проделать то же самое. Нина стучалась лбом в землю, Парчевский – тоже, стараясь удариться погромче. Нина вздыхала, вздыхал и Парчевский. Нина шептала молитвы, шептал молитвы и Парчевский.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.